

**СИН
ТАК
СИС**



12

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

12

ПАРИЖ

1984

Журнал редактирует :

М. РОЗАНОВА

**The League of Supporters: Т. Венцлова, Ю. Вишневская,
И. Голомшток, А. Есенин-Вольпин, Ю. Меклер,
М. Окутюрье, В. Турчин, Е. Эткинд**

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

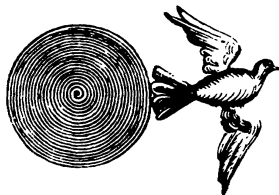
© SYNTAXIS 1984

Адрес редакции :

**8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE**

На полях машинописного текста, присланного из России, который мы здесь публикуем под инициалами автора — З.М., — была сделана от руки приписка: "В "Вестник"? А если нет — куда-нибудь..." Эту надпись мы обратили в заглавие: настолько в словах, долетающих оттуда, слышится порою тоска, боль, надежда, и неуверенность — дойдут ли? опубликуют? отвергнут? обругают? Боязнь новой цензуры, установленной в русской прессе на Западе, проникает уже в Самиздат...

"Синтаксис" был задуман как журнал беспартийный и независимый — от окрика "вождя", от силы денег, от "истины" в последней инстанции. Мы предаем гласности не бесспорные, а зачастую спорные вещи и идеи, которые сплошь и рядом "не проходят" в других журналах по причинам, от качества материала не зависящим. Идее единой, авторитарной "истины", хранящейся в кармане больших начальников, мы противопоставляем в первую очередь вопрос о том, насколько интересна, свежа, оригинальна присланная нам статья, насколько она способствует разнообразию взглядов и стилей — развитию самостоятельной мысли и творчества в современной России.



СОВРЕМЕННЫЕ

ПРОБЛЕМЫ

Г. Померанц

АКАФИСТ ПОШЛОСТИ

1. Лицеден

Я хотел начать этот опыт с обзора трех томов журнала "На перекрестке" (редактор и основной автор – о. Дмитрий Дудко). Обзор давно готов; но журнал – машинописный, распространяется среди паствы. Этика спора заставляет действовать тем же оружием, т.е. полупублично. Пришлось перепечатать обзор на машинке, для друзей, и оставить право первой типографской публикации текстов за автором. Иначе всегда можно обвинить обозревателя в искусственном надергивании фраз из разных мест, а проверить негде. Кроме того, обзор может преждевременно удовлетворить любопытство публики и помешать авторской публикации. А мешать здесь мне не хочется. Напротив, я настоятельно рекомендую журнал историкам, социологам, психологам.

Как-то надо теперь начать иначе. И вот думал я, думал и вспомнил последнюю, самую яркую пору моей затянувшейся молодости – конец 50-х годов. Я жил тогда в одном из близких к Москва-реке переулков, по которым Бездомный гнался за Бегемотом, и наша с Ирой комната (немногим менее 7 квадратных метров) обладала свойством квартиры Воланда: когда приходили гости, они все как-то размещались. Собиралось до десятка человек, один раз –

Прислано из России.

даже одиннадцать (сидели тогда на подоконнике, на полу)*.

Говорили обо всем на свете, как в Гайд-парке (политических табу у нас не было), но чаще всего — о стихах (Ира газет не читала, а стихотворений знала наизусть не менее 1000). Иногда какой-нибудь легкомысленный гость вспоминал Евтушенко. Тогда один из сыновей Иры произносил:

Постель была расстелена,
А ты была растеряна...

Несколько голосов сразу же подхватывало хором:

И говорила шепотом:
"А шшто потом? А шшто потом?"

Евгений Евтушенко был для нас символом пошлости. Где-то очень близко к нему стоял и Вознесенский, но пальма первенства бесспорно отдавалась Жене. Привычка к объективности заставила меня прочесть пару его сборников. Там были стихи получше, даже совсем хорошие. Только не на общественные темы. От гражданственности Евтушенко меня всегда тошнило. Кажется, он с юности привык, что патриотические и т.п. темы требуют наигрыша, и с тем же привычным вывихом хромал на левую ногу. В царствование Никиты рядом с государственным рынком для произведений ума человеческого начал складываться и частный. Евтушенко одним из первых понял возможность этого рынка и потрафлял двум господам сразу. На публику — "Наследников Сталина", "Бабий Яр"; а когда прикажет начальство, Пегас отвозил в заготконтору несколько мешков по госпоставкам. Смелости у Евтушенко хватало (как у многих спекулянтов), но не было ничего за душой, ради чего стоило бы пойти на костер (это чувствовалось). И бросалось (мне, по крайней мере) в глаза, что в его стихах нет ни одной новой политической мысли. Только рифмованные общие места.

Зато читал он свои стихи превосходно. Плохих в его

* Ср. воспоминания об Ире Муравьевой, "Синтаксис" № 8.

исполнении не было. Только хорошие и отличные. Я с трудом отделял текст от исполнения. Непосредственно Евтушенко захватывал. Такой артистизм невозможен без известной доли искренности. Только не надо смешивать ее с искренностью человека, который так стоит и не может иначе. Бывает еще искренность актера, умеющего вжиться в роль. Сегодня — Алексей Турбин, завтра — Владимир Ильич, послезавтра — Леонид Ильич...

Я не хочу сказать, что все актеры — лицедеи. В исполнении роли может быть и суд над этой ролью, в котором сказывается подлинное лицо. Но профессия прямо требует от актера вжиться в личину, которую надел; и соблазн подмостков, рампы, аплодисментов — более непосредственный, более чувственный, чем искушения пишушей братии. Актеру труднее, чем кому бы то ни было, забыть о зрительном зале. Грешат полуискренностью и поэты, и проповедники, и политические лидеры, но слово "лицедей" собственно и значит — актер, только с отрицательной нравственной характеристикой его ремесла (так же как самовластие — то же самодержавие, но с точки зрения возмущенного им сознания). И Евтушенко — бесспорно лицедей. Его вдохновение неотделимо от тщеславия, от желания бросить в публику выигрышную реплику и сорвать аплодисменты. С ловкостью спекулянта, торгующего контрабандой: сексуальной революцией и либерализмом.

Поставим рядом трех поэтов: Высоцкого, Евтушенко и Коржавина. В Высоцком очень много стихийной силы, у Коржавина больше выстраданной мысли: "Но у мужчин идеи были. Мужчины мучили детей...". У Евтушенко есть и певучесть, и способность к поэзии мысли. Но Высоцкого и Коржавина, решительно не похожих друг на друга ни в чем, объединяет одно: то, что они свой талант не продают, что они своим жаром души не спекулируют. А Евтушенко именно это и делает. Талантливо, артистически — продается. Играет — на публику.

С середины шестидесятых годов литература перестала быть единственным выражением общественного сознания. Начались движения: демократическое, правозащитное, национальное, религиозное... И сразу появились правозащитные лицедеи, церковные лицедеи... Лицедей следует за ис-

тинным деятелем, как тень. Плохих лицедеев легко раскусить. Но есть лицедеи хорошие, отличные.

Петр Григорьевич Григоренко очень просто и убедительно показал различие наигранной храбрости Михайлова от действительного мужества (Васильева, Гольдштейна, Леусенко, Тимофея Ивановича). Портреты фронтовиков в его воспоминаниях заставляют вспомнить Лермонтова (Грушницкий и Максим Максимыч). И в политике Григоренко сразу отсеивал мелких лицедеев (примеры читатель найдет в его книге). А Сталин долго владел его душой, и даже после XX-го съезда Петр Григорьевич возмущался: зачем устраивать канкан на могиле великого человека*

В политике все мы ошибались, все мазали, хотя бы в своей профессиональной сфере с ходу угадывали наигрыш, фальшь. В политике все мы дилетанты. И только испытание крестом обнаруживало, кто такой Якир, кто такой Дудко, кто такой Регельсон...

У лицедейства тысяча лиц. Есть лицедеи тщеславные – и лицедеи демонические. Я думаю, что Сталин тщеславным не был. Его страсти уходят ниже в глубину ада: "иметь врага, уничтожить его – и выпить бутылочку хорошего вина..."**. Якир (судя по книге Григоренко) – противоположный случай. Слабый человек, довольно искренний, но вытолкнутый случаем в исторические лица и не способный расстаться с красивой ролью. Петр Григорьевич угадывал, что Петя испытания не выдержит, и советовал ему отойти от движения. Но для открытого признания своей слабости нужно нечто, для Григоренко естественное и само собой разумеющееся, но совсем не частое: нетщеславное мужество. Петр Григорьевич совершенно лишен тщес-

* Ср. Петро Григоренко. В подполье можно встретить только крыс. Нью-Йорк, 1981. – Видимо, надо различать знаменитых людей и людей великих. В величии есть что-то духовное. Я признаю известное величие в Солженицыне. В Сталине, Гитлере этого духовного величия я не признаю. "Человекоорудия", использованные демоническими силами, они сами по себе ничтожны. Яростные, хитрые ничтожества и пошляки. Медиумы массовой пошлости, которая захватывает и подавляет (в том числе чистых и сильных людей) своей массой, мощным полем, созданным миллионами слабых волей.

** По воспоминаниям Г. Серебряковой.

славия, и временами он забывает, какая это великая страсть, как она может раздуть малую душу и сделать ее как бы великой — до самых границ подвига и жертвы. Особенно в правозащитном движении, благодаря общей ауре подвига и жертвы, окружающей его. Горе-герой отталкивает, когда он решительно надут тщеславием, вот-вот лопнет (Красин). Но если только слегка поддует, если личина сохраняет черты естественного лица, то он может быть очень обаятелен, и к нему привязываешься, веришь, что сила, толкающая его действовать, больше страха (толкало же призвание Мандельштама, пугливого, как ребенок). Веришь, что придет к нему второе дыхание, — а оно не приходит, и вместо добросовестного банкротства, вместо честного отказа от роли, оказавшейся слишком опасной, — банкротство злостное, с показом по телевизору...

Опыт последних десятилетий обогатил нас целым паноптикумом мнимых героев, и хочется наметить хотя бы некоторые основные типы в этом классе. Вот, например, о. Дмитрий Дудко — священнолицедей. Если бы не тщеславие, он был бы хорошим, добрым, отзывчивым приходским священником. К несчастью, Дудко графоман. Он одержим страстью писать и печатать. В нормальных гражданских условиях ничего страшного из этого не вышло бы (скорее всего, просто ничего бы не вышло). А у нас можно купить право печататься за границей имитацией гражданского мужества, и Дудко входит в роль — а потом шаг за шагом пьянеет от собственной смелости и дани восхищения, вызванного мужественным словом. На проповеди Дудко собирается цвет столицы, и почти никто не видит, что слово Дудко — актерское слово, что он способен играть только перед рампой, под аплодисменты... А наедине, в камере — не было больше контакта с публикой, и дух оставил свой сосуд, а победил смердяковский шкурный страх.

Духовные дети о. Дмитрия обманулись, потому что они очень хотели увидеть подвижника, которого о. Дмитрий играл (и играл искренне; он сам хотел быть тем о. Дмитрием Дудко, которого играл, и до известной черты это у него выходило). Обманулись люди очень образованные, которым слабости мысли Дудко не могли не кидаться

в глаза. Но они во многом сомневались, они не были уверены в себе и в своей вере, а Дудко лицедействовал и являл им тот самый образ, которого они хотели. Образ простой, цельной веры. Которой у него не было! Вера, религия — это связь, связь с Богом. Тут стены тюрьмы не помешают. А у Дудко вера была слабенькая, пунктирная, решала связь с людьми, с поклонниками его проповеднического таланта, с публикой. Ловцы душ учли это, использовали его тщеславие, изобразили из себя духовных детей, готовых объединиться с пастырем на почве общего советско-русского патриотизма, — и Дудко пал. А потом пишет, пишет, пишет, оправдывается, обвиняет, исписал несколько сот страниц прозы и стихов. Есть что-то мучительное (если не мученическое) в этой трагикомедии графомана, что-то подобное страсти игрока или алкоголика... Сравнительно с темными лицедеями, лицедеями-provокаторами, гедонистами бесстыдства (о некоторых из них см. ниже), — это тип лицедея-страдальца. Но — уву! — пошлого страдальца. Страждущего в своей пошлости-страсти и пошлого в своем страдании. Тяжело читать панегирик Дудко, который П.Г. Григоренко не успел вычеркнуть из своей книги...

2. Человек в царстве химер

Заговорив (в который раз) о воспоминаниях Петра Григорьевича Григоренко, я хочу задержаться на них. Это даже необходимо, чтобы не терять общечеловеческого масштаба, чтобы рядом с подлинным героем рассеялось само собой очарование призраков. Какая-то пружина постоянно поворачивает этого Петра-воина к добру. До всяких идей. Сквозь идеи, вопреки идеям... Какой-то неисповедимой властью Святого Духа. Начиная с прыжка в окно одиннадцатилетнего Пети, с высоты полутора этажей (т.е. двух нынешних) в кучу мальчишек, бивших скопом одного, маленького, чужеродного — кончая ударом ребром ладони по горлу санитаря, избивавшего душевнобольных в черняховской психушке.

Я познакомился с Петром Григоренко в споре, ему было больно слушать некоторые мои возражения, но он со-

вершенно не злился; по лицу его пробегали тени страдания, но никогда не злости. И потом, несколько лет спустя, когда наши встречи возобновились, я поражался, как мягко он отвечает своему инавалиду-пасынку, когда тот прерывает наши встречи возобновились, я поражался, как мягко он отвечает своему инвалиду-пасынку, когда тот прерывал разговор своими не очень связными речами. Никогда ни тени раздражения...* Тем больше волновали меня, читая книгу, сцены, когда Петр Григорьевич взрывался. Всегда — на тех, кто сильнее, на тех, кто хамит, от кого он зависит (а не кто от него зависит). И как Григоренко умел осаживать хамов! И как он прав, говоря, что не было бы и хамства, если бы все умели осадить хама! Вот когда правозащитное движение нашло бы, наконец, почву!

Если искать истоки характера в детстве, то две самые замечательные черты маленького Пети — нежность, ласковость — и вспыльчивое чувство собственного достоинства. Был огненно рыжим, дразнили жестоко, и научился драться, защищать свое достоинство. А отзывчивость заставила драться за всех рыжих — до крымских татар и немцев Поволжья... Что-то было заложено в этом ребенке с рождения. И не зря цыганка так упорно добивалась погадать самоуверенному, отталкивавшему ее комсомольцу (и все ведь нагадала правильно: военную профессию, долгую жизнь, мучительные испытания старости).

В книге на 800 страниц есть свои длинноты. Но она глубоко поэтична. Все время "есть, кого любить"* . Все время испытываешь радость общения с человеком, которого до боли не хватает в жизни. Огромный поток событий, прошедших через ум и сердце. Много фактов, которые поражают, захватывают, рождают новые мысли. И все же главное — не они, а сам Петр Григорьевич. Это история возвращения к вере, неотделимой от нравственных позиций в нашем брэнном мире. К вере, которая немедленно рожда-

* Почти все товарищи по несчастью этого инвалида детства умирают в юности. Проф. Эфраимсон считает мягкость П.Г. Григоренко одним из факторов, позволивших Олегу выжить и развиваться до способности читать книги.

* Выражение одной читательницы.

ет дело. К тому, что потеряла историческая церковь и что русская интеллигенция пыталась утвердить без Бога — в революционном действии. И потому это также возвращение к лучшему, что было в подвиге Радищева, декабристов, семидесятников... В жизни Петра Григорьевича это лучшее возвращается на почву веры, очищенную бурями от раболепия и корысти. И пусть рай на земле — утопия и соблазн, но борьба за то, чтобы жизнь не стала адом — совсем не утопия, все доброе в истории — через эту борьбу, и дай Бог России побольше такой веры и такой борьбы! Со способностью любить свой народ без ненависти к другим народам и без всяких счетов с ними, со всегдашней готовностью пойти против своей толпы, за теснимое толпой меньшинство...

Следуя за рассказом Петра Григорьевича, можно понять, как революционные идеи завладели Россией. Утопия, окрылявшая коммунистов, складывалась сотни лет. Форма, которую придал ей Маркс, — только некое пустое зеркало, в котором витают призраки Мора, Фурье, Сен-Симона. Социализм Маркса — такая же утопия, только не открытая, как у Фурье, а скрытая. Маркс отказался от попыток рисовать будущее, но не отказался от веры, что утопические картины чему-то соответствуют, что-то предвосхищают. Сквозь фигуры диалектики и теорию классово-борьбы светится золотая мечта Нового времени. Она не может не вызвать отклика в человеческом сердце, и даже Достоевский, величайший критик утопии, заплатил ей дань в "Сне смешного человека". Я не знаю, был ли Томас Мор святым, не примешивалась ли и к его созерцаниям воля к власти. Но в основе своей утописты — добрые безумцы. И пока их мечты носятся над историей, как золотой сон, зла в этом сне нет. Так утопистов чувствовали поэты, так они их воспели:

Если к правде святой
Мир дороги найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой...

Во сне можно влезть на стену и ходить по потолку и

испытывать чувство свободы от тяжести. Но как только требуется совершить все это наяву, начинается кошмар. Лезешь на стену, срываешься, злишься. Если не сомневаешься в идее, то есть только одна причина неудач: мешают враги, вредители, двурушники... И вот каждые несколько лет новая судорога, новая кампания борьбы с врагами народа. Пока сон утопии не развеется. Или пока к власти не придет палач, которому утопия — только для отвода глаз, а на самом деле лишь бы вешать, раздавливать пальцы дверью, сажать задом на ножку табуретки и проч.

На Западе утопия осталась сном. Левеллеры, Робеспьеры быстро сходили со сцены. Заговоры Бабефа и Бланки проваливались. Не было на Западе общественного слоя, готового выпрыгнуть из истории в утопию, ползть на стену. Отдельные мечтатели были, отдельные волны сочувствия они вызывали, но не было интеллигенции, выбитой вестернизацией из своей местной традиции и не укоренившейся как следует в западной. Не было народа, помнящего Разина и готового еще раз попробовать то же самое. Не было способности власти к прыжкам, — того, что Щедрин назвал административным восторгом, — традиции Грозного и Петра (в России), Цинь Ши-хуанди, Ван Мана, Ван Ань-ши (в Китае). Утопия победила там, где с древности были порывы к утопии. И победив, она тотчас себя обличила...

Разобраться во всем этом Петр Григоренко никак не мог. И поток его захватил. Толкнуло к красным отвратительное впечатление от белого террора. И захватила мечта о справедливом строе. Красивая мечта. А потом начались испытания, и Петр мужественно шел через них, не теряя своей веры, и боролся с извращением идеи. А извращения все нарастали. Жизнь в 30-е годы, как она описана в воспоминаниях, — какой-то параноидный бред, поток кошмаров: организация массового голода, истребление собственной армии. И как итог — катастрофа 22 июня 1941 года.

Почти чудо, что Петр Григоренко уцелел. Ему удастся дважды сорвать дела о вредительстве и добиться освобождения арестованных. А в 1938 году, вместе со старшим братом, красным партизаном Иваном Григоренко, арестованным в Запорожье и через месяц выпущенным без паспорта (чтобы без нового оформления арестовать, если откажется

быть стукачом), он выиграл целое сражение с НКВД. Это замечательная история. Иван Григорьевич, прямо из тюрьмы, не заходя в квартиру, едет в Москву и (в ванной, пустив шуметь воду) рассказывает брату, что он видел и слышал (десятки фамилий и дел, выученных в камере наизусть). Братья договариваются о шифрованной переписке. Петр (майор академии Генштаба) добивается приема у Вышинского и назначения прокурора для проверки. Проверка оказывается липовой; а между тем первая жена Петра Григорьевича случайно прочитывает шифрованное письмо и бежит доносить на своего мужа. Он успевает догнать ее в подъезде, вернуть и убедить в своей правоте. Вторым раз идет в прокуратуру и требует назначения новой проверки. Его готовы арестовать, но неслыханное по тем временам бесстрашие, с которым майор спорит с армяноюрисстом (четыре ромба), сбивает с толку. Прожженным политикам кажется, что за Григоренко кто-то стоит, кто-то большой и сильный... Григоренко уходит домой, не подозревая, какой опасности он подвергался. Через короткое время Ежова сменяет Берия. Злоупотребления, вылезшие наружу, решено было прекратить – и маленьким торжеством справедливости прикрыть большой Архипелаг. В Запорожье отправлен был новый ревизор, и несколько десятков невинных вышли на свободу.

Подобного рода маленькие события укрепляют веру, расшатанную большими событиями: что система в целом хороша, что виноваты отдельные люди, не сумевшие постоять за правду. Невольно вспоминается мнение Ключевского, что самодержавие – лучшая в мире власть, если не считать случайностей рождения... И мнение Карамзина, что России нужно только сорок хороших губернаторов... Но безумие нарастает, и пик абсурда – политика Сталина накануне войны. Вплоть до взрыва укреплений вдоль старой границы, которые Петр Григорьевич, в бытность свою военным инженером, несколько лет строил, вложив в это дело бездну труда, энергии и технического таланта. До сих пор неизвестно, по чьему приказу. Скорее всего – по личному приказу Сталина.

И вдруг, с 22 июня, все меняется. Внешним образом

становится еще хуже. Но источник зла перемещается на Запад, и страна сплачивается в сопротивлении злу:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!..

Вместо принципиально невыполнимой цели, толкавшей к безумию, появилась трудная, но исторически разумная, выполнимая цель: победить в войне. Выдвигаются разумные люди, и почти из ничего они создают оборону перед противником и военную промышленность в тылу.

Война застала Григоренко на Дальнем Востоке, заместителем начальника оперативного отдела штаба Дальневосточного фронта, которым командовал генерал армии Опанасенко. Здесь, далеко от полей сражений, новый дух, принесенный войной, выступает во всей своей чистоте, как созидательный, разумный дух. Генерал Опанасенко (тип разумного самодура, превосходно описанный Григоренко) получает диктаторские полномочия. Он сдает в солдаты секретарей райкомов, не выполняющих его приказаний по строительству стратегических дорог, он организует переделку учебных винтовок в боевые, производство минометов — и возвращает в строй офицеров и солдат из дальневосточных лагерей; несмотря на сопротивление Никишева (начальника Дальстроя), удается вырвать часть призывных контингентов даже с Колымы. Формируются новые дивизии взамен брошенных на Запад, спасти Москву, и удается сохранить в полной силе барьер против возможного нападения с Востока. Теряют силы доносы, которые сыплются в Москву (на Опанасенко, на Григоренко, летавшего по поручению Опанасенко в Магадан). Логика кошмара, царство химер не исчезает вовсе, но отступает на второй план. Палачей и тупиц, выдвинутых Сталиным, несколько оттесятся люди военного времени. Сам Сталин перестраивается, входит в новую роль и приближает к себе генералов, которых не успел расстрелять. Григоренко, попав, наконец, на фронт, получает возможность действовать так, как ему подсказывают ум и совесть, — и за это его не отстраняют, не арестовывают. Наоборот, он даже получает благодарность от Мехлиса (одного из ближайших сотрудников самого Сталина).

Я был на войне, и я знаю, что таких командиров, как Григоренко, с таким выработанным самостоятельным стилем (не сталинским! скорее, антисталинским) — было немного. Но все же в первой попавшейся дивизии Петр Григорьевич находит офицеров, на которых можно опереться, и солдат, полюбивших его и готовых за него в огонь и воду.

Потом героический эпос снова превращается в сказку о бабе-Яге. И Григоренко, продолжавший службу в Академии им. Фрунзе, начинает свой мучительный одинокий путь — от борьбы с извращениями идеи к борьбе с самим порядком, выросшим из этой идеи. В пятьдесят четыре года он бросает все — не только свое положение генерала, начальника кафедры, ученого, работавшего в области военной кибернетики, автора восьми книг и нескольких десятков статей*, — но даже самые привычные мысли, сами аксиомы мировоззрения, и в новой для себя области как бы заново учится ходить (так, как в отрочестве после тифа). Петр Григорьевич пишет, что "прыжок к свободе" (открытое выступление с критикой Хрущева) был для него самым страшным, самым мучительным часом в жизни. В это можно поверить. Но Петр-воин не мог поступить иначе. Он медленно созрел для своего подвига, но созрев — не мог действовать иначе и не мог не действовать и жить в двоемыслии, как живут миллионы.

Дальнейший путь Петра Григорьевича слился с демократическим и правозащитным движением, в котором он занял одну из самых решительных позиций, — отчасти по своему характеру, отчасти по внутреннему убеждению, что подвиг, совершенный им, повторят другие: что гражданское мужество естественно, как мужество на войне, и вот-вот, сейчас, — если не сегодня, то завтра, — за ним пойдут тысячи, сотни тысяч, миллионы. Как шли за ним солдаты.

Эта уверенность, в иные эпохи, могла бы и заразить. Но мы живем в очень вялое время. И вот Петро Григоренко, украинец родом и русский генерал, входит в современ-

* О качестве этих работ можно судить по одной, адресованной широкой публике, — в связи с книгой Некрича. Это лучшее, что я читал о начале войны.

ную летопись как вождь крымских татар. Другие народы за ним не пошли.

Все равно! Лир и в степи король. А время, может быть, изменится, и дух, запечатленный в книге, еще дойдет до России: речи на банкете крымских татар и на похоронах Костерина не забудутся. Но на наших глазах дело кончилось мученичеством в ташкентской тюрьме и черняховской психушке (я не завидую посмертной славе Черняховского. Думал ли молодой талантливый командующий фронтом, убитый при арналете, в какой контекст попадет его имя?).

Петр Григорьевич вышел несломленным. Его жизнь настолько прекрасна, настолько значительна, что простой и бесхитростный рассказ о ней читается как выдающееся поэтическое произведение. Но есть в этом рассказе некоторые страницы, против которых мне хочется возразить. Совсем не многие страницы, но очень важные. Они касаются Сталина.

Разрыв Петра Григорьевича с советским идеологическим макетом начался в хрущевскую пору, после известного доклада на XX-ом съезде. И в сердце Григоренко остался след возмущения безграмотностью, с которой Хрущев делал все, что он делал: сажал кукурузу, руководил искусством и критиковал военные распоряжения Сталина. Генштабиста там многое могло покоробить. А Григоренко — человек справедливый. Даже после мучительного часа перед телевизором, когда заключенного вывели из одиночки, послушать, как Петя Якир признает его сумасшедшим, Петр Григорьевич считает своим долгом подчеркнуть большие заслуги Якира перед демократическим движением. Примерно так же он относится и к военным заслугам Сталина. Наконец, его возмутила концепция Авторханова, решившего, что реальным главнокомандующим в 1941-45 годах был Жуков. Григоренко знал Жукова еще на Халхин-Голе — и вынужден был доложить командующему фронтом Штерну о грубых стратегических ошибках командарма, будущего маршала (по докладу Григоренко эти ошибки были исправлены). Концепция Авторханова толкнула Петра Григорьевича на полемику; а в ходе полемики, кри-

тикуя жуковскую легенду, он возродил кое-что из легенды сталинской.

Чем был для наших вооруженных сил Сталин накануне войны и в начале войны — это именно Григоренко лучше всех показал. Но Сталин, по его словам, был хорошим учеником событий. И спасая свою шкуру, он быстро вошел в роль главнокомандующего. Поэтому наши победы — это сталинские победы, и они навечно останутся в истории военного искусства. Вот, в нескольких словах, его концепция.

3. Провокатор-генералиссимус

Я думаю, что Сталин — провокатор. Может быть, не по должности, но по характеру. Его служба в царской охранке документами не подтверждена*. Но служил или не служил Джугашвили в департаменте полиции, — дьяволу он служил верой и правдой. Другими словами, зло было для него не средством ради революции, социализма, России, а целью. Эту психологию описал Оруэлл в своем "1984". Его счастье, его радость — наступить сапогом на человеческое лицо и растоптать, раздавить, превратить человека в дерьмо.

Идеи нужны были как сырье для фабрики пропаганды, для вербовки сообщников. Какие именно идеи — все равно. Со временем идейная захваченность все больше заменялась материальной, и сталинская гвардия превратилась в обыкновенную мафию. Для меня всего этого достаточно. Мне расписки Джугашвили в получении 100 руб. не нужно. Я утверждаю, что у провокатора нет заслуг. Я сказал уже это в своей речи "Нравственный облик человеческой личности", и я готов свою оценку отстаивать. У Сталина не больше заслуг (перед международным рабочим движением? Перед русским империализмом?), чем у Азефа перед боевой организацией эсеровской партии или у Малиновского перед

* Есть только подозрения. Например, Степан Шаумян, погибший в 1918 году, считал Кобу (Сталина) провокатором, выдавшим его в 1908 году полиции.

большевистской фракцией Государственной Думы. Можно спорить, что было важнее в деятельности Петра Якира: его диссидентство или его измена диссидентству и зачеркнуло ли второе все предыдущее. Но провокатор, оставаясь провокатором, никогда не бывает тем, за кого он себя выдает. Он делает что-то, по своей роли, но это только роль, а не лицо, и роль злонамеренная. Все действия провокатора — часть его провокаторской службы. Всякая мнимая заслуга провокатора только увеличивает его влияние и расширяет возможности дальше творить зло (даже посмертно, как показывает судьба сталинского культа). Все заслуги как бы умножаются на минус единицу и становятся отрицательными величинами. Мне кажется, эту общую идею можно доказать и при анализе сталинской деятельности в качестве Верховного главнокомандующего.

Я не ставлю под вопрос искренность генерала Вечно-го, говорившего Петру Григорьевичу после XX-го съезда: "Я знал другого Сталина". Но я не думаю, что был один Сталин — садист, слуга дьявола, и другой Сталин — спаситель России. Никакого другого Сталина Вечный не знал, знал только личину Сталина и по простодушию принял ее за лицо.

У Сталина был целый набор личин. А что за ними? Не знаю. Мерещится Крошка Цахес, волшеббно присваивающий себе чужие заслуги; Смердяков (лакей идеологии, попирающий идеологов); Тень ученого и Дракон, с ненасытной жаждой зла ради власти и власти ради зла*. Этот гад, рожденный от совокупления утопии с административным восторгом, никогда не делал ничего доброго, — только обманывал видимостью добра, чтобы завлечь, чтобы было на кого опереться.

Григоренко замечательно рассказывает, как Сталин, оскорбив и унизив Опанасенко, сумел потом внушить любовь к себе и готовность служить до гроба. Но к рассказу нужны комментарии. Сталин, решавший с Опанасенко все вопросы по прямому проводу, снимает командующего, ничего не объяснив, телеграфным приказом, и отзывает в Москву. Уполномоченный НКВД по Дальнему Востоку

* Из пьес Шварца.

Гоглидзе, начальник Дальстроя Никишев и другие, писавшие на Опанасенко доносы, получили полное удовлетворение: наступил их час. 1943 год. Выиграна битва при Курской дуге. Победа над Гитлером — только дело времени. И Сталин начинает обдумывать новые пакости, новые способы мучить целые народы — без войны. На этот раз готовятся национальные судороги: высылка калмыков, ингушей, крымских татар. Заодно — продолжение прежних, социальных судорог, с новым штрафным слоем: военнопленными, и с новой волной террора против попыток колхозников не умереть с голоду (указы о расхищении социалистической собственности), с добиванием ветеранов Архипелага, имевших наглость выжить. Палачи — на авансцену! Палачам — честь и место!

Но война еще длится. А впереди, может быть, новые войны. Генералами нельзя бросаться. И вот Сталин вызывает к себе Опанасенко и доверительно объясняет, что чрезвычайное положение прошло, война на Дальнем Востоке не грозит, наместник с неограниченными полномочиями там больше не нужен, а Опанасенко пора бы включиться в ту войну, какая есть: не сидеть же ему до самой победы в Хабаровске! Пока — для начала — его назначают заместителем Рокоссовского (служившего раньше под его командой). А там видно будет... Пилюля позолочена, Опанасенко в восторге от сталинского доверия. Но никакого потом за этим не наступило. Самостоятельного командования Опанасенко не получил. До конца войны он остается заместителем, фамилия его не попадает в печать. Генерал, обнаруживший способности быть диктатором, не должен появляться на сцене. И не появляется. Но преданность его обеспечена.

Если у Сталина была особая одаренность, то в одном: он умел видеть в людях их мелкие страсти — и умел льстить самолюбию (часто накануне подножки: самолюбию Зиновьева, Бухарина...). Синявский описал, как Сталин охмурял инженеров человеческих душ. Случай с Багрицким, пожалуй, тоньше охмурения Опанасенко. Для каждого случая подбиралась своя личина. А если номер не проходил, то публика, недовольная представлением, шла в лагерь. Или прямо на тот свет.

Во всем остальном, кроме лукавства и интриг, Сталин был скорее туповат. Своих идей у него никогда не было, и он крал идеи у тех, с кем боролся. Почему же авторы идей терпели поражения, а он побеждал?

Это одна из загадок истории. Даниил Андреев писал, что сталинская энергия шла из глубин ада; что Сталин — медиум адских сил; какая-то высшая справедливость отдала всех умников, решивших переустроить мир, в жертву тупому демону. Этот миф — не ложь, а своеобразное описание истины, которую нельзя вытащить на поверхность и растолковать по правилам разума. Видимо, энергия зла, связанного с воплощением известного рода идей, так велика, что становится решающей силой, и деятель, открыто служащий злу, садист (как Сталин) или поклонник дьявола (как Гитлер), приобретает некоторую фору, некоторые преимущества перед соперниками, сохранившими пережитки буржуазной добропорядочности.

В романе Достоевского ложная идея — неопровержимая в своем теоретическом блеске — унижается пошлым воплощением. Сила дается пошлости (Смердякову). А потом пошлость познает себя и в невыносимой тоске сама же себя истребляет.

Дойдет ли жизнь до эпилога романа — не знаю. Но дух, бурливший в Сталине, — это какой-то пошлый дух. Мне кажется, что Петр Григорьевич не понимает этого по благородству, присущему его натуре. То, что он любил, ему невозможно совершенно выбросить из сердца. Черта, совершенно противоположная сталинской психике; но благодаря этой именно черте хочется сохранить признание каких-то достоинств Сталина.

Григоренко полюбил Сталина за твердую (будто бы) веру, что можно построить социализм в одной стране (так полюбил Сталина миллионы людей). Потом опыт отрезвил, и любовь рухнула. Но рудиментом веры в Сталина осталась убежденность в гениальности Сталина-полководца.

Во-первых, утверждает Григоренко, Сталин сумел заставить союзников служить своим интересам... Может быть, и так. В Сталине туповатость отлично уживалась с хитростью, и в дипломатии он мог кое-кого надуть. Но не надо смешивать дипломатических способностей с военным

гением. Мы ведь не считаем Александра I великим полководцем, хотя он и был хорошим дипломатом. Дипломат, даже очень талантливый, не позитичен, не захватывает души Пушкина — и народной души. Я не говорю о даровании полицейского, какого-нибудь Жозефа Фуше (к которому Сталин был пожалуй ближе, чем к Наполеону). Нет культа Жозефа Фуше, нет культа Талейрана, есть только культ Наполеона. И моя задача — показать, что Сталин ни с какого бока не Наполеон, что он и в военном деле был великим ничтожеством. А вопрос о сталинской дипломатии я оставляю профессиональным историкам.

Я утверждаю, что никаких новых военных идей Сталин не выдвинул — так же как не выдвинул новых политических или философских идей. До самой большой войны гений позволял Ворошилову "крутить хвосты" и придал танковые батальоны стрелковым дивизиям. Только после финской кампании он спохватился, что в России бывают морозы, и ввел теплое обмундирование (одно из решающих условий нашего перехода в контрнаступление зимой 1941-1942 годов). Русский кумир задним умом крепок.

Период обучения вождя военному делу длился, по-моему, не до декабря 1941 года (как полагает Петр Григорьевич), а до лета 1942 года включительно. На этот курс наук не хватило бы никакой страны, кроме России. И после 1942 года Сталин продолжал гробить людей на кубанском плацдарме и даже в самом конце, при взятии Берлина, — велел брать столицу в лоб (хотя Конев практически показал, что с юга в Берлин можно было войти с ничтожными потерями. Я этому живой свидетель).

Сталинский стиль военных операций (в конце концов выработанный) был имитацией. Сперва — Жукова. В действиях Жукова на Халхин-Голе вождя привлекло именно то, что оттолкнуло Григоренко: не щадить солдат и расстреливать офицеров. Совершенно естественно, что Штерн, помиловавший всех приговоренных по приказу Жукова к смерти, Сталину не понравился, был отозван и впоследствии расстрелян, а Жуков вознесен до начальника генерального штаба (должность, на которой он разделил со Сталиным ответственность за отказ воспользоваться данными военной разведки, предупредившей о наступательной груп-

пировке немецких войск). Видимо, в декабре 1941 года Жуков, назначенный командующим Московской зоной обороны, получил известную свободу рук, и Сталин чему-то у него доучивался. Это косвенно подтверждается опалой Жукова после конца войны: Сталин не любил людей, которым слишком обязан. Жуков никогда не подменял главнокомандующего, но стиль генерала-мясника, жуковский стиль, стал важным компонентом сталинского стиля. Однако важнейшим, определяющим было другое: копирование Гитлера. В 1942 году Сталин открыто призывал учиться у своих врагов... Сталинский военный стиль – сочетание жуковского с гитлеровским.

Что же собой представляет сталинско-жуковский стиль в целом? Некоторые простейшие приемы, перенятые у немцев, плюс старый способ, описанный еще Достоевским в "Дневнике писателя": фельдъегерь методически бьет кулаком в затылок ямщика, ошалелый ямщик хлещет лошадей – и тройка мчится...

Петр Григорьевич пишет, что сталинские стратегические решения будут изучать. По-моему, гораздо интереснее действия самого Григоренко. Я не видал в течение всей войны такого умения беречь каждого солдата и создать устойчивое ядро пехотинцев, обстрелянных в боях и способных к сложным и стремительным маневрам.

Читая о действиях дивизии Григоренко, я все время создавал, что автор намного превосходит меня в своей области и я с трудом могу следить за ним, как за шахматистом, видящим на 5-10 ходов вперед, с несколькими вариантами ответа на каждый ход. Сталинские же военные решения никогда у меня такого чувства не вызывали. Иногда они были разумны (в рамках здравого смысла), а иногда ошибочны. Конечно, мой опыт (солдата и младшего офицера) недостаточен для суждения о полководце. Но меня вдохновляет пример Раисы Борисовны Лерт, очень хорошо разобравшей книгу штабного генерала, хотя в армии Р.Б. вовсе не служила.

Я думаю, что попытки продолжать зимнее наступление весной 1942 года были ошибкой. Крупные наступательные операции при абсолютном господстве противника в воздухе – нелепы. Уже в феврале, как только начались яс-

ные дни, наше наступление выдохлось. Я это испытал на собственной шкуре. Ночью с 22 на 23 февраля мы взяли деревню. При лунном свете, в белых маскировочных халатах, солдаты двигались, как призраки. Немцы стреляли из автоматов, не видя цели, авиацию и минометы нельзя было пустить в ход. Наш взвод потерял одного человека (неслыханно мало для наступательного боя). Зато утром... Нас выложили в оборону перед деревней, бестолково густо, и по этой массе людей долбили (с пикированием) 16 юнкерсов, потом они улетели — и били минометы, а потом минометы перегревались — и снова прилетали юнкерсы... Так повторялось несколько раз подряд. Когда меня ранило и я пошел на перевязку, снег был весь в розовых пятнах*. Батальонный медпункт в избе разбомбили, раненых завалило бревнами (потом в госпитале я встретил мальчика 16 лет — мы ведь шли в октябре защищать Москву без всякого отбора по возрасту, — его выкопали сравнительно целым, он лежал за печкой). Меня самого, в другой избе, вторично ранило и контузило. И в госпитале все раненые повторяли: не война, а одно убийство. Это в феврале, когда немецкая пехота, обутая в кожаные сапоги, грелась в избах и не решалась вылезти на снег. Но морозы кончились, немец обнаглел, — а в воздухе по-прежнему были только мессера, юнкерсы, хейнкели, фокке-вульфы...

Кто виноват в катастрофе под Керчью? Неужто один Мехлис, получивший за это прозвище Мехлис--Дюнкерченский! Мне рассказывали, что генерал Петров, командовавший фронтом, хотел перейти к глубокой обороне, а Мехлис настоял, чтобы сохранить наступательные боевые порядки (которые и были прорваны одним махом). Неужто такие ответственные решения обошлись без Сталина? Не был ли Мехлис простым рычагом Сталина? Не потому ли Сталин в конце войны вдруг снял Петрова, что не захотел видеть его на банкете победы? Не потому ли, что фигура Петрова напоминала ему собственную ошибку, а не ошибку Мехлиса?

Наконец, на юге Украины, уже после Керчи... Отказ Сталина перейти к стратегической обороне был авантюрой. Как бы он ни разговаривал (или вовсе не разговаривал) с

*Следы прямых попаданий.

Хрущевым, и как бы Хрущев об этом ни рассказывал на съезде.

Весной 1943 года наша дивизия вышла на речку Миус (к западу от Ростова) и заняла позиции, оставленные советскими войсками летом 1942 года. Всю оборону пришлось рыть заново. Ходы сообщения, запасные окопы, огневые, запасные огневые, ложные огневые... Наши предшественники за полгода выкопали только ниточку траншей по переднему краю. Почему Сталин, властью главнокомандующего, не заставил *тогда* зарыться в землю? Лопат не нашли? А потом приказ №227: "Сегодня, 28 июля 1942 года, войска Красной Армии оставили город Ростов, покрыв свои знамена позором..." Первую фразу 40 лет помню наизусть. По сердцу ударило. И дальше — основной смысл: по примеру предков наших, учиться у своих врагов. Ввести штрафные роты и батальоны. Ни шагу назад!

Ничего этот приказ не остановил! За месяц откатились до Волги. Остановила Волга (дальше некуда). Остановила "скрытая теплота патриотизма" (о которой вспоминал Виктор Некрасов). И, может быть, символическое название города — со всеми связанными с ним легендами (советский патриотизм совпал с русским патриотизмом)*.

Я считаю Сталина ответственным не только за катастрофы лета-осени 1941 года, но и за весенне-летние катастрофы 1942-го. Стратегия вождя выросла из его опыта мирного строительства: организации массового голода 1930-1933 годов и репрессий 1934-1939 годов. Привык, что людей можно заставить хоть на стену лезть. И вот, — рас судку вопреки, наперекор стихиям, — вперед, вашу мать! Непрерывный, надрызванный мат по телефону... Это не чье-то личное хамство, как его понимал Григоренко*, — а система, такая же, как мат следователей, — методическое доведение людей до остервенения, до слепой злобы, в которой

*Приказ "Ни шагу назад" до самого конца войны давал огромные лишние потери. Например, если фронт застревал в болоте, солдаты месяцами жили по колена в воде; немцы же в подобных случаях отходили на 3-5 километров.

* Григоренко клал трубку, когда его по телефону материли, и приучил генерала к вежливости. Он хотел принимать решения спокойно, трезвым умом.

потерь уже не считают, и дорвавшись до немецких окопов, разбивают прикладами головы фрицам, поднявшим руки вверх (немцы наших в плен брали: расстреливали по выбору — известные категории; советские гуманисты иногда убивали всех подряд).

В июне-июле 1942 года этот испытанный метод дал осячку. Немцы прорвали фронт и вышли на оперативный простор — к Волге и к Кавказу.

Но Россия велика. Сами победы создали опасное для немцев положение — растянутый, с изломанными очертаниями фронт. Как только наступление остановилось, этот фронт оказался Ахиллесом, у которого пятка всюду. Одна пятка румынская, другая — итальянская, третья венгерская (венгры — неплохие солдаты, но зачем им Воронеж?). А между тем низкая облачность приковала немецкую авиацию к земле, и русские танки, раздавив румын (аккуратно поставленных немецкими штабистами к югу и к северу от Сталинграда для удобства окружения), соединились у Калача. Немцам пришлось драться в "котле", и они потеряли веру в свою непобедимость. Мы ее приобрели. Пропаганда раздула победу под Сталинградом до фантастической, подавляющей величины. На Миусе наша дивизия формировалась заново (мы вышли к этой речке в составе одной сводной стрелковой роты), но как-то удалось убедить солдат, что они гвардейцы-сталинградцы. Я сам убеждал и удивлялся, до чего легко верят.

После страшного урока двух летних кампаний Сталин дал теперь приказ зарыться в землю и, опираясь на отличную оборону, уступил Гитлеру первый ход на Курской дуге. Тут он Гитлера действительно переиграл: угадал ход мыслей противника и приготовил ему ловушку. Гитлер, оставаясь самим собой не мог не искать победы в наступательном бою; а где же наступать, если не под Курском? Если бы дьявол (на которого Гитлер рассчитывал) помог ему, окружение и разгром советских сил, сосредоточенных в центре дуги, дал бы максимум успеха... Но соотношение сил изменилось. Наши стрелковые дивизии научились использовать мощь своих огневых средств в обороне, наши танки получили хороший опыт зимой 1942-1943 годов, — и наша авиация, наконец, сравнилась с немецкой. Два года

мы воевали под чужим, враждебным небом. Теперь этого больше не было. Мощным контрударом удалось прорвать немецкие наступательные боевые порядки (то, чему немцы научили нас в 1942-ом. Опять задним умом крепки). Значит ли это, что Сталин — военный гений? Или просто оплошал Гитлер, действовал тривиально, так, как от него ожидали? Из двух полководцев, столкнувшихся на поле боя, один всегда выходит победителем.

Простой здравый смысл подсказал Сталину, что без хорошего генерального штаба войну выиграть нельзя, и он выдвинул на руководящие посты способных людей (так же как раньше, для других дел, были выдвинуты Ежов и Берия). Не все генштабисты, подготовленные Тухачевским, были расстреляны. Мудрый Сталин кое-кого (одного из десяти) оставил в живых*. А может быть, просто не подвернулись под руку в минуту гнева. Вполне можно было расстрелять и Василевского. Классово чуждый элемент. Сын попа. Но почему-то уцелел и стал маршалом. В 1930 году Сталин вернул из ссылкок троцкистов, на место бухаринцев, поехавших в ссылку. В 1941 году он вернул из лагерей Рокоссовского, Горбатова... А потом их победы стали сталинскими победами.

Гениальность Сталина — призрак, созданный при участии тех самых генералов, которые подсказывали ему свои решения. Но этот призрак воевал, и он победил другой, гитлеровский призрак.

Генералы (русские и немецкие) были искренне благодарны диктатору за тотальный режим, собравший все силы страны на службу войне. Тотальная экономика — это военная экономика. Тотальная политика — это военная политика. Гениальность Сталина была царь-пушкой системы, стрелявшей военными победами так же, как раньше — миллионами тонн чугуна и стали. На самом деле урон противнику приносили другие орудия, царь-пушка только хлопала, но психологически ее выстрел был решающим. В государстве, где Сталин снится детям в яслях, вдохновляет ху-

* Очень сходную гениальность обнаружил аятолла Хомейни. Он реабилитировал шахских офицеров и с их помощью разбил иракскую армию.

дожников и незримо танцует па-де-де вместе с Галиной Улановой, военные приказы, подписанные вождем, были неременным условием победы. Непогрешимость Сталина позволила сохранить веру в победу после любых поражений. Она вела нас вперед (так же как немцев — непогрешимость Гитлера). Гениальность Сталина стала краеугольным камнем мировоззрения генералов и офицеров, добившихся победы. Без гениальности Сталина рухнет часть их веры в себя. После хрущевского доклада военные были потрясены — это Григоренко очень хорошо описал. Неприятно почувствовать себя подручными бандита. Надо было идти путем Петра Григорьевича — или возвращаться назад, реабилитировать Сталина.

К несчастью, в таком положении не только генералы. У миллионов ветеранов нет позади ничего настоящего, подлинного, кроме войны. Вперед, ... вашу мать! За Сталина, ... вашу мать! И поднимаются залегшие роты и идут вперед, летят на крыльях победы, над смертью, над страхом. А потом? Потом опять стена, и опять начальство велит лезть на стену и заниматься социалистическим соревнованием — кто быстрее влезет. И опять (как объяснял в 1941 году наш командир отделения, сержант Сорокин) надо делать вид, что непременно влезем, собирать лестницы, привязывать их друг к другу — и постепенно начальство привывает, что довольно одной видимости влезания на стену, и так, в этой пустой возне, проходит вся жизнь. Война была выходом из царства химер в историческую реальность, конец войны — возвращением в мир Кафки. И имя Сталина, и облик Сталина в мундире генералиссимуса связались в умах миллионов не со страшным миром, который он строил, а с коротким выходом из этого мира в национальный эпос. Этот мираж, овладевший массами, от моих однолотов до юнцов, надышавшихся смутным облаком отцовского патриотизма, — одна из величайших трагедий русской истории.

Что же было на самом деле? Было то, что политическая машина, заложенная Лениным и достроенная Сталиным, выдержала весь груз его ошибок. Политический строй, в котором малейшие сомнения в мудрости диктатора есть тягчайшее преступление, — несокрушимая крепость,

и Гитлер разбил себе об нее голову. Монархию, в которой можно было сплетничать о царице и Распутине, Гитлер бы, пожалуй, слопал, а сталинским кашеевым царством подавился. Я думаю, что Гитлер разобрался в военном деле лучше, чем необученный рядовой Сталин. Все-таки ефрейтор, четыре года вертелся посыльным около штаба полка. Но политически Сталин был гибче. Система, в которой он действовал, была жестче фашистской, но сам он был гибче. Система была устроена по логике Шигалева (начинаем со свободы и приходим к рабству). Фашисты и не начинали с золотых снов человечества, они прямо объявляли волю к власти. Фашизм циничнее, преимущество нашей системы — в лицемерии, в способности использовать и добрые порывы.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей...

Сталин прекрасно чувствовал логику системы и был величайшим лицемером. Часть его победы — это победа советского лицемерия над фашистским цинизмом. Но лично Сталин был циничнее Гитлера. И его победа — это (помимо всего прочего) победа тоталитарного хозяина второго поколения (100% циника) над тоталитарным вождем первого поколения (циником-идеалистом). Сталин использовал и американскую помощь, и русский патриотизм, и Коминтерн распустил, и погоны ввел. А Гитлер не сделал даже серьезной попытки превратить Власова в своего союзника. Он верил в расовую теорию, он воевал по правилам, которые сам себе установил, и по этим правилам высшая раса должна была покорить низшую. Гипноз идеи сблизжает Гитлера с другими соперниками Сталина, которых Сталин слопал. Сталин не был пленником идеи. Он проституировал любые идеи. В том числе гитлеровские. И он победил.

Великие вожди обычно сами не сознают, что за идеей, которой они одержимы, прячется нечто более элементарное (воля к власти, мстительность и проч.). Отсюда противоречия в деятельности великих людей. В Сталине таких про-

тиворечий не было. Его победа — это победа такой полной, такой пошлой бездуховности, что сравнительно с этим пошлый хам Гитлер, одержимый своим пошлым мифом о белокурой бестии, выглядит героем и мучеником идеи. Ну, пусть пошлая идея, но своя, кровная. У Сталина — никакой своей идеи. Только понимание, как играть лозунгами, сохраняя ударные слова и выворачивая наизнанку их суть.

Впрочем, конкурс гениальных вождей был так устроен, что ад ни при какой погоде не мог проиграть. Не Сталин, так Гитлер; не Гитлер, так Сталин. Единственная возможность гибели обоих — это временное торжество Гитлера и град американских атомных бомб. Гитлер — не Хирохито, от одной бомбы не капитулировал бы... Бог сохранил Европу от радиоактивных осадков. Победа дана была Сталину. Генералиссимус устлал дорогу к Берлину трупами русских солдат и спас Германию (а заодно и соседние с ней страны) от атомной отравы*.

Война — продолжение политики, и наша война не могла быть ничем иным, как продолжением сталинской поли-

* Впрочем, в случае безусловной победы англо-американской коалиции, зло — хлынувшее в мир после мировых войн — нашло бы новые пути. Об этом хорошо говорит философ-эссеист (созданный воображением Хорхе Луиса Борхеса) перед казнью: "... Гитлер думал, что он борется за одну нацию, но он боролся за все, даже за те, которые он презирал и на которые напал. Неважно, что его Я не осознавало этого факта; это знали его кровь и его воля. Мир погибает от иудаизма и болезни иудаизма — веры Иисуса; мы научили его насилию и вере в меч. Этот меч нас убивает... Многое должно быть разрушено, чтобы создать Новый Порядок; теперь мы знаем, что и Германия была обречена. Мы отдали больше, чем наши жизни, мы принесли в жертву свое возлюбленное отечество. Пусть другие стонут и кланут. Я нахожу радость в том, что наша судьба завершила свой круг — и что она совершенна.

Наступает непреклонная эпоха. Мы ее создали, мы, ставшие ее жертвой. Что с того, если Англии досталась роль молота, а нам — наковальни, раз царствует насилие, а не христианская робость рабов. Если победа и торжество несправедливости и счастье не для Германии, пусть они достанутся другим нациям. Пусть существует небо, даже если наше место — в аду..."

тики. Нас нельзя было сломить, не сломив авторитета Сталина. Поэтому Гитлер — не сумев взять Москвы — рванулся к Сталинграду. Поэтому Сталину непременно надо было удержать Сталинград. Сталин бросает полумиллионную армию в бой к северу от Сталинграда, в голой степи, наступать при абсолютном господстве противника в воздухе, — чтобы хоть на несколько дней отвлечь часть сил немцев, дать возможность организовать защиту города. Несколько месяцев спустя Гитлер оставляет армии Паулюса погибать, цепляясь за развалины Сталинграда. Потому что Сталинград — город-знак, город-символ. Кутузов мог сдать Москву, чтобы сохранить армию. Авторитет царя это не подорвало. А Сталин и Гитлер вцепились в Сталинград мертвой хваткой...

Я не отрицаю политической необходимости нашего августовского неудачного наступления к северу от Сталинграда. Но с военной точки зрения оно все же было бездарным. Дивизии двинулись вперед густыми боевыми порядками, с неизбежностью огромных потерь. Это все равно, что заваливать ров трупами. Много лет спустя мне пришлось слышать рассказ одной пожилой женщины, служившей во время войны во фронтовой газете. Самым ее сильным переживанием была передислокация редакции (видимо, в начале 1943 года) по дороге, ямы которой были заложены замерзшими трупами итальянцев. Рассказ не печатали — факт (несмотря на его патриотическую интерпретацию) сочли неприличным. Но мы воевали еще более неприлично. Наша дивизия продвинулась на 3 километра, буквально завалив свой участок (два на три километра) трупами. Другие дивизии продвинулись меньше или вовсе не продвинулись. Каждый квадратный километр был там завален трупами еще гуще. Над полем висел густой смрад. Я хромал после ранения, больше трех километров не мог пройти, и был прикомандирован к редакции, ходил ночами из балки Широкой (КП дивизии) в балку Тонкую (КП полков), за материалом (усталые политработники мне с трудом что-то выдавливали). А в темноте я несколько раз натыкался — то рука торчит недохороненная, то нога. Сваливали в ближайшие ровики и чуть-чуть присыпали. Хоронить как следует некогда было — и некому.

Задним числом мне кажется, что разумнее было бы атаковать ночью (когда авиация бездействует), захватывать отдельные участки вражеских окопов и провоцировать немцев на контратаки, под огонь нашей артиллерии (которой было очень много). Так мы могли бы долго давить на фланг Паулюса. Но приказано было просто: всем фронтом — вперед! Немецкому превосходству в воздухе не было противопоставлено никакой мысли — только груды пушечного мяса! И потом, с начала сентября, когда наступать было нечем — еще недели две или три подымались в атаки обескровленные сводные роты (из totally мобилизованных обозников, кашеваров и проч.). Паулюс превосходно знал (через перебежчиков хотя бы), что нам давить нечем. Что же мы демонстрировали? Только преданность Сталину. И во имя этой преданности дивизии были истрепаны так, что в ноябре, для действительного наступления (на румынском участке) пришлось некоторые расформировывать (наша 258-я была сохранена, пополнена за счет 207-ой и впоследствии получила гвардейское звание. Следовательно, она воевала лучше других. Между тем, талантливых маневров, наподобие тех, о которых пишет Петр Григорьевич Григоренко, я за два года — с 1942 по 1944 — не видел ни одного. Очень квалифицированно воевали артиллеристы. А пехота в военной машине была чем-то вроде колхозов).

Действуя в Карпатах, П.Г. Григоренко по сути вел войну на два фронта. Одну — горячую — с противником, и другую — холодную — по телефону с начальством. Петр Григорьевич выполнял только те приказы генерал-лейтенанта Гастиловича, которые считал разумными, а нелепые — саботировал. Рискуя головой, обманывал, не делал ничего или делал так, чтобы продемонстрировать исполнение с минимумом потерь, а потом решал боевую задачу по-своему. Но, во-первых, он был генштабистом (люди с его образованием командовали армиями и фронтами), а во-вторых, он родился диссидентом (хотя и не сразу это понял). То, что казалось ему борьбой с генерал-лейтенантом Гастиловичем, было по сути борьбой со сталинским стилем: потерь не считать — и вперед, хоть на стену лезь!

Петр Григорьевич хвалит Сталина за то, что тот разре-

шил не секретить Боевой Устав пехоты. Так ведь вождю не зачем было перестраховываться! И приказ № 227 он мог писать, не боясь, что за резкие выражения привлекут по статье 58-10, часть вторая. Над ним Сталина (и Берии) не было. В обществе, где все перестраховываются, тот, кто по своему положению может не перестраховываться, — гений. У него есть возможность свободно мыслить, шагать через стереотипы, менять стереотипы. В царстве слепых он зрячий. Но в обществе свободных он кривой.

Когда соотношение сил изменилось в нашу пользу, когда генеральный штаб интеллектуально овладел положением и стал предлагать эффективные боевые планы, к Сталину повалила козырная карта, и он начал бить своими козырными шестерками гитлеровских асов* (потерявших козырное достоинство). До середины войны козырная карта шла Гитлеру, и гением был Гитлер. Потом козыри пошли Сталину, и стало казаться, что он еще гениальнее. Хотя невозможно считать заслугой Сталина, что Россия велика, что русский народ привык к сильной власти, что Ленин эту сильную власть обновил и усовершенствовал, что у Америки огромный производственный потенциал, который страны антикоминтерновского пакта обрушили себе на голову, что японцы поперли на юг, а не на запад, что Ежов не успел посадить Василевского или Баграмяна (уже исключенного из партии за мнимую дашнакскую деятельность), что Рокоссовский не загнулся в лагере...

Слава — шкура барабанная. Сможешь — колоти в нее. А история решит, кто дегенеративнее, — писал Николай Глазков (исключенный за это из Литературного института).

Я вижу в сталинских методах войны что-то очень сходное с методами сталинских хлебозаготовок. Лишь бы сегодня взять все сто процентов. И во имя этого разрушались работоспособные колхозы. И во имя этого стрелковые батальоны превратились в проходной двор для маршевых рот — в наркомздрав или в наркомзем. Потери стрелковых рот в наступлении ничем не отличались от потерь

* Ас — букв. туз — жаргонное наименование первоклассных летчиков.

штрафных рот. Так же как жизнь колхозников мало отличалась от жизни з/к.

Побеждать, уложив вчетверо больше, чем Гитлер, — на это надо не слишком много гения. Но победа есть победа. В пустой, выпотрошенной Сталиным сегодняшней жизни его собственное время осталось в памяти как время энергии, порядка — и победы. Любовь к Сталину растет, как снежный ком. Идет возвращение к сталинскому культу, гораздо более массовое, чем возвращение к православию.

Сталин победил. Это факт. Но что дала нам его победа? Устойчивое гниение, прикрытое имперской спесью. Победенные, которых мы освободили от фашизма, живут с каждым годом все лучше (хотя земли у них стало меньше). А мы — с каждым годом все хуже. Это тоже факт. И не потому мы хуже живем, что отошли от Сталина, от его порядков, а потому что в самом главном никак не можем от него отойти и продолжаем то же самое, но вяло, без веры и без энергии, которые Сталин истощил до последней капли.

Я не думаю, что войну в целом можно и нужно дегероизировать. Что было, то было. Была мертвая хватка двух одержимых дьяволом, Сталина и Гитлера, двух вампиров, упившихся народной кровью. Были шахматные партии полководцев, передвигавших фигуры на своей штабной карте. И был Тимофей Иванович с его винтовочкой. Я называю имя ординарца Петра Григорьевича, без промаха подбивавшего наступающих венгров, — в плечо, в ногу, никогда не в голову, не в грудь (он не хотел плодить вдов и сирот). Тимофея Ивановича не хочется дегероизировать. Да и самого Петра Григорьевича, заставившего всю свою дивизию надеть каски, чтобы меньше было смертельных ран... Но труд Ивана Денисовича не оправдание Архипелага, и ратный труд Тимофея Ивановича — не оправдание Сталина-полководца. Суворов воспитывал своих чудо-богатырей. Сталин получил готовыми Иванов Денисовичей и Тимофеев Ивановичей — и расточил это богатство. Герои не плодятся в неволе. Где теперь Иваны Денисовичи, где Тимофей Ивановичи? Только на кладбище.

Война Гитлера со Сталиным — базотрадный эпос.

Один вампир погиб, чтобы укрепить власть второго. Но в апреле 1945 года, в Берлине, память неудержимо выталкивала "Торжество победителей" Шиллера, то в одном переводе, то в другом, — и сердце откликалось на каждый стих. В конце концов, я достал Шиллера на немецком и несколько раз перечитывал — все так перекликалось с тем, что я видел! И толпы троянок, оплакивавших свое царство, и пророчество Кассандры...

Все великое земное
Разлетается как дым.
Ныне жребий выпал Трое,
Завтра выпадет другим.
Смертный, воле, нас гнеущей,
Покоряйся и терпи.
Спящий в гробе мирно спи.
Жизни радуйся, живущий.

Огромное напряжение всей страны, закончившееся победой, не перечеркнешь. Что было, то было. Но этот властитель, нечаянно пригретый славой... Его культ надо разобрать по косточкам. Пока еще есть время. Пока тень Сталина не потянула за собой новый хоровод бесов. Пока дух Сталина не соединился еще с духом Гитлера — духи это могут — и на земле не воплотилась новая, сталинско-гитлеровская химера.

4. Провокатор-пророк

Есть еще одна химера, в перспективе будущего, может быть, самая чудовищная. Это провокатор-пророк. Тот случай, который я знаю, сравнительно мелок и мало известен. Но замечательна сама возможность такого типа, и поэтому Феликс Карелин — довольно мелкий бес, едва-едва влезший на котурны, — достоин исследования. Важен не он сам по себе, а то, что в нем воплотилось (может быть, только на пробу, в ожидании других, более крупных воплощений).

История Феликса настолько плотно укутана в облако легенд, что я не буду пытаться, что в них правда, а что

— ложь. Легенда сама по себе правда, сама по себе свидетельство о духе времени. Поэтому назову героя своей притчи просто Икс (не Феликс, а герой легенды о Феликсе. Не прототип, а тип, мой собственный художественный вымысел).

Не знаю, когда его завербовали. Кажется, в конце войны (Икс был солдатом, а вероятность полевой вербовки довольно высока: в каждом взводе положен информатор). Но, может быть, он прельстился на положенные сребреники до войны, в детдоме*, или после войны, в Ленинградском гарнизоне. Икс кончал свою службу в Ленинграде и понемногу стал постукивать по квартирам интеллигентов, пригревавших бедного солдатика**. Как он это оправдывал? Идеей? Но по идее надо бы бесплатно, а Иксу платили. Идея прикрывала это плохо. И зада не прикрывала. Помогало желание выслужиться, доказать преданность (биография Икса была не совсем безупречной). Стук, помимо мелочи на карманные расходы, давал надежду на карьеру... И еще помогала зависть к благополучным (по сравнению с казарменным житьем), устроенным (опять-таки относительно) интеллигентам. Икс был гол, как сокол. Отслужив срок, он располагал единственной парой штанов и дырявыми ботинками. Другие студенты были так же скверно одеты; но их это не мучило, не язвило, а Икса очень язвило. Он был неограниченно тщеславен. Тайное (и призрачное) могущество стукача давало ему, видимо, какое-то странное удовлетворение.

В эти годы многие стучали: из подражания Павлику Морозову, со страху. Но совесть мучила, и методический стук выходит не всегда. Некоторые вовсе не могли стукнуть, до боли от невыполнения своего пионерского, комсомольского или партийного долга. При всей вывернутости наизнанку такого чувства (Павлик Морозов поступил хорошо, мне надо быть такой же, но я слаба, я не могу) —

* Согласно одной из легенд, в этом доме для детей врагов народа стоял памятник Павлику Морозову.

** Есть другая легенда, что Икс был офицером контрразведки. Но мне не верится.

это признак целомудренной души. Таких завербовать было вовсе невозможно. Из других, давших подписку, при каждом вызове буквально выдавливали показания (с таким несчастным я сидел в камере). Некоторые стучали лихо, самозабвенно, по-хлестаковски, — а потом спивались (моему соседу по нарам чудилось, в белой горячке, что воробушки прыгают и чирикают: шпик! шпик! шпик!). Долгая и безнаказанная работа платного информатора возможна только при некоторых особых чертах характера: нравственном идиотизме, извращенности, гипертрофированной способности к самооправданию и т.п. Что именно поддерживало Икса — не знаю. Скорее, последнее. Во всяком случае, совесть его не беспокоила. Он работал долго, успешно и небескорыстно. Из этой инерции, задолго до XX-го съезда, его вырвал один необыкновенный случай.

В 1948 году органы безопасности заинтересовались Толей Бахтыревым, по кличке Кузьма. Иксу поручили познаться. Это было нетрудно. Кузьма рано осиротел, двери его комнаты были широко раскрыты. Туда ходило несколько десятков первокурсников и школьников старших классов...

Я впервые услышал о Кузьме от его поделщика (а моего лагерного друга), довольно скептического юноши. К мальчикам и девочкам, входившим в кружок, он относился с усмешкой. Очень любил главу "Русские мальчики" из "Братьев Карамазовых" и цитировал реплики Коли Красоткина наизусть — с иронией к мальчишескому философствованию своих друзей и самого себя. Но когда вспоминал Кузьму, тон совершенно менялся. Кузьма был для него высшим существом.

В 1948 году Кузьма бросил работу, на которой чем-то обидели, лежал на койке и думал. Устраиваться сперва медлил (все равно в армию), а потом и не мог. После первых донесений Икса его вызвали, пытались завербовать, паспорт не вернули. Так без паспорта и жил до ареста. Вечером приходили товарищи, приносили поесть, и начинались разговоры...

К 1948 году эти разговоры дошли до Бога и бессмертия души. Впоследствии Илья Шмайн упрекал Кузьму: "Ты не захотел быть Христом" (а захотел бы — и Илья бы пове-

рил, пошел...). Один этот упрек стоит целой повести. Кузьма действительно не хотел быть Христом, ни пророком, но у него был религиозный дар. Может быть, дар тоски по вечности? Много позже, после лагеря, он писал: "Бога нет, но есть деревья, и представить себе это невозможно...". Своим "представить это невозможно" он, кажется, и тревожил ум.

В одну из ночей, прозванных кем-то творческими (кажется, это скрытая цитата из Пушкина), — Икс вдруг, во внезапном порыве искренности, признался, что стучит и уже настучал на всех. Так вдруг пронзало и осеняло Лебедева или Келлера, а потом они продолжали свои пакости...

На Западе стукач — это стукач, и если он имеет отношение к святости, то только по долгу службы: через донос. Но русский человек широк, он делает пакости и молится за упокой души графини Дюбарри, исповедуется Мышкину или — как Икс — становится пророком православного Ренессанса. Потому что на Западе формы определились, а в России они шатки и непрочны. Отсюда тот страх Антихриста, о котором писали Н.А. Бердяев и Д. Андреев. Католики боялись дьявола, — размышлял Бердяев, — но нигде не было такого страха Антихриста, как в России. Даниил Андреев объяснял это впечатлением от крутых переходов Ивана Грозного (то православный царь, то зверь; то зверь, то православный царь). При близости царя и Бога в народном сознании невольно в глазах зарябит: то Христос, то Антихрист, от этого и безумный страх подмены святыни, до самосожжений в срубках, и безумная вера Блока:

В белом венчике из роз
Впереди Иисус Христос...

Тут главное — в крутизне переходов. Луи XI не бросался в истерику от пыток к покаянию, не носил монашеских одежд, не превращал двора в монастырь. Он был рационально жесток. Ему в голову не пришло бы пойти походом на Орлеан (даже не фрондировавший) и топить обывателей в реке. Иван Грозный — явление неповторимо русское, первый русский Антихрист. Были потом и другие... Икс еще одно мелкое звено в антихристовой цепи. Мелкое, но опять неповторимое. Бывает, что прохвост становится

провокатором; но чтобы прохвост и провокатор стал пророком? Говорят, что слава Икса уже развеялась. Но лет двадцать ему почти что молились.

Вопрос о том, как отличать истинных пророков от ложных, с древности не находил точного решения. Об этом была интересная статья прот. А. Князева в "Христианском вестнике" № 198, и мне хочется добавить к ней только несколько слов. По-моему, дело не в точности прорицаний. Книга пророка Ионы была написана едва ли не для того, чтобы сказать: в прорицаниях своих пророки могут ошибаться. Напротив, гадалки успешно предсказывают будущее (но пророчицами они от этого не становятся). Пророком делает святой гнев, сердце, разгоревшееся на мерзость народа. Обещание будущих несчастий — средство увлечь к покаянию, не более того. Ошибки здесь не опасны. Опасно другое: гнев. Святой гнев — это черная белизна, горячий холод, неустойчивое сочетание святости со смертным грехом. Пророк, даже великий, может выродиться в лжепророка, если гнев ослепил его, довел до злости и мстительности (как это иногда случается даже с великим пророком, создателем ислама). В величайших пророках гнев вспыхивает ненадолго и скоро гаснет, уступая место любви. Гневное ослепление — знак несвятости, способности к падению. Но где мера, за которой начинается это падение? Ее нет.

Где пророки, там всегда и лжепророки. В Африке не очень давно (лет десять или пятнадцать тому назад) был съезд пророков. Съехалось человек тридцать мужчин и несколько женщин. Кто из них действительно пророк, не знаю, но общее число пророков (и лжепророков) измеряет духовное развитие Африки совершенно точно, так же, как производство энергии на душу населения — ее экономическое развитие.

В истории высоких религий пророки постепенно исчезают. Их заменяют святые. Это не только перемена термина. Меняется и суть. Святые безгневны, их горение духовное — более чистое (пламя без дыма, как говорят в Индии). Отдельные святые могут грешить гневом (а отдельные пророки приближаются к новозаветной святости: Исайя, например). Но характеристика верна для группы,

для религиозного типа. Пророки продолжают в низах общества, в сектах, до которых история как бы еще не дошла. Или секуляризуются, становятся "харизматическими лидерами" (Макс Вебер), "пассионариями" (Л.Н. Гумилев), — т.е. Кромвелем и Наполеоном, Лениным и Троцким.

Харизматические лидеры нужны, когда история петляет и кружит, когда средний человек сбит с толку, потерял ориентиры и может только выбрать вождя, довериться вождю, который знает, как надо. К сожалению, современные вожди, по большей части, ведут нас из огня да в полымя. Единственное исключение — Ганди. Но ничего другого я среднему человеку, сбитому с толку, не могу предложить, и настаиваю только на праве критиковать вождя. В том числе Солженицына.

Однако вечность — по ту сторону исторических судов. Время петляет, кружит, делает зигзаги (историческое время вовсе не сводится к движению по прямой). А вечность всегда в одном месте: в центре круга, в центре спирали. И поворот к вечности давно известен. Великие религиозные традиции могут обмениваться опытом, учиться друг у друга, как идти в свою собственную глубину, но каждая из религий эту глубину знает. Ни православие, ни какая-либо другая великая религиозная традиция пророков не требует, и по-моему даже не допускает. Пророки — это у пятидесятников. А право — славный пророк — сапоги всмятку, мыльный пузырь, раздутый легковерием верующих, отчаявшихся в своей гнилой продавшейся иерархии. На этой почве вырос и пророческий авторитет Икса. Я убежденно оцениваю его как лжепророка, безо всяких внутренних колебаний, но тут же оговариваюсь, что иногда он бывал как бы и пророком в самом деле и в эти мгновения мог совершать сам и побуждать других как бы и на великое. Более того, я убежден, что некоторые из учеников лжепророка могли быть крещены им в истинную веру и вступить на праведный путь; и не отходить от добра поминутно, как их вождь, а утвердиться в меру личной благодати. Такие случаи, кажется, были.

Возвращаясь к 1948 году, я думаю, что порыв, заставивший Икса признаться, не был игрой. Но была и "двой-

ная мысль”, т.е. все же и игра, отчаянная, рискованная игра. Икса поразила и соблазнила атмосфера восторженного обожания, готовности слепо идти за пророком, — то, что Толя Бахтырев решительно не принимал и впоследствии, в письме к другу, назвал ”фашистским культом”. Мелькнула — как журавль в небе — возможность карьеры, способной удовлетворить самое фантастическое, самое необузданное тщеславие. Ради этого журавля Икс выпустил из рук советскую синицу и рванулся в небо.

Первым следствием был арест (за разглашение служебной тайны) и лагерь. Арест, может быть, спас предателя. Когда Толя сидел, а он еще гулял на воле, двое мальчиков собирались убить его. Но в лагере слава стукача еще больше грозила смертью.

Далее легенда раздваивается. Согласно одной версии, Икс сперва обратился к Христу, а потом зарезал человека. Согласно другой версии, он сперва зарезал человека, а потом обратился к Христу. Я выбираю второй вариант, хотя вовсе не ручаюсь, что именно так и было на самом деле. Так, по-моему, художественно достовернее. Спасаясь от ножа, защищая свою эковскую честность, Икс согласился убить и убил заведомого стукача, осужденного лагерной мафией. Может быть, менее виновного, или вовсе невинного... Потом его охватило раскаяние, и в какой-то миг он что-то увидел...

По словам Кузьмы, Икс ”первым реализовал религиозные бредни 1948 года” (см. посмертно собранную книжку Анатолия Бахтырева, опубликованную за рубежом под названием ”Эпоха позднего реабилитанса”); Иксу там дана условная фамилия Гарелин).

Некоторые друзья Толи (Кузьмы) говорили мне, что никаких видений у Икса быть не могло, что он просто выдумывает и артистически входит в роль. Мне кажется, что артистизм вранья и способность к видениям друг друга не исключают. Артистизм мог несколько варьировать рассказы о видениях, но видения сами по себе могли быть. Видения у подлеца вполне возможны. Истерический порыв, заставивший обличать себя как стукача, нельзя отрицать. Отчего же отрицать следующие порывы? А если признать истерию, в сочетании с себе на уме, то перед нами обрисовыва-

ется тип современного шамана. Говорят, что многие шаманы страдают наследственной истерией. Среди них есть и вруны, и корыстолюбцы, но видения их посещают. И африканских колдунов, вдохновленных поеданием человеческой печени, тоже посещают видения.

Низость Икса сказалась не в самих видениях (подсказанных христианской культурой; а какой же интеллигент, читавший Толстого и Достоевского, не тронут ею?). Низким был вывод Икса: огромное чувство своей избранности, своего призвания. Убийство было прощено себе мгновенно (так же, как раньше стукачество). Икс уверовал, что Христос принял на себя все его грехи и наделил пророческим даром. Раньше для самооправдания шли в ход идейные аргументы, теперь пошли мистические, но низость осталась низостью. Подмененный Христос оправдал все грехи — прошедшие, настоящие и будущие. Путь к преображению был оборван с первого же шага; лукавая душа вывернулась, усыпила видениями чувство ужаса от себя самой, избежала назначенного ей страдания. У Галича даже чорт знает, что за грехи придется платить (потом, правда, но все-таки придется); а Христос Икса все на себя взял и все списал.

Выйдя на волю, новый пророк с энтузиазмом проповедует своего подмененного Христа. Пуще всего ему хотелось увлечь подельников. Перед одним из них, встретив его на улице, он бросился на колени: "Не встану, пока не простишь!". — "Пошел ты к е... матери", — ответил тот. Икс постоял, постоял на коленях на тротуаре — и встал непрощенный. Вернуться победителем в Мекку не удалось. Зато перед лжепророком широко раскрылись другие сердца. Проповедь Икса нашла восторженный отклик среди молодежи, о которой я писал в эссе "Три клинических случая" (прямо от соски — к бутылке). В этом Ясрибе* даже пороки Икса шли ему на пользу. Например, склонность приволакиваться за первой встречной юбкой. Пастве, тронутой сексуальной революцией, такое поведение пророка решительно нравилось.

* Ясриб — город, в который Мохаммед бежал, оставив Мекку. Впоследствии — Медина.

Шаманский дар Икса вызвал массовый энтузиазм. Толпе хотелось именно такого Христа, с которым все позволено — и все свято. Гармонии между попом и приходом не смогло нарушить даже несостоявшееся светопреставление (хотя этот анекдот попал в газету). Дело было так. После нескольких бессонных ночей Икс увидел, что шестая печать будет снята летом 1968 года. Спасть можно будет только на Афоне. Очнувшись, Икс тут же подменил греческий Афон Новым Афоном (в Грецию визы не дали бы). Верные уговаривали скептиков: бросайте все, спасайтесь! Сам пророк оформил себе на время светопреставления очередной отпуск; другим же пришлось туго. Все же несколько человек уехало. Купались, пили сухое вино и ждали конца света... Потом Икс, со своей безграничной способностью самооправдания, вспомнил пророка Иону. Оказывается, Бог пожалел Москву.

То, что меня поражает, это не способность пророка ошибаться (по-моему, все люди могут ошибаться. Ап. Павел и другие апостолы ошибались, ожидая скорого пришествия Христа; но вера их была истинная). Поражает легкость, с которой Икс поверил, будто ему ведомы времена и сроки, и такая же легкость, с которой он простил себе ошибку, сохранив полностью веру в себя. Видимо, этой верой он и заражал и захватывал.

Кое-кто тогда отошел. Но вместо одного отошедшего набежал десяток неопитов. Слишком многим хочется найти в другом (а не открыть в себе) силу веры и знание правды. Разумные люди в наш век не знают, что будет завтра, время переломное, что-то кончилось, а что начнется — не поймешь. И вот безумцы и наглецы становятся вождями. И целые народы бросаются за наглой самоуверенностью: за Гитлером, за Хомейни...

Скандал с шестой печатью ничуть не уменьшил славы Икса. Он обличает неправославие, бичует ереси...

Постепенно Лжепророк становится все уважаемее, все церковнее. Начав с обличения Московской патриархии, он теперь обличает церковных диссидентов (его же духовных детей). Перестав быть провокатором по должности, Икс остался провокатором по характеру. Он сочиняет тексты — подписывают другие. Он не дает порочащих пока-

заний, но предлагает вызвать других (а они уже говорят то, что нужно).

Когда вернулся Толя Бахтырев, отсидев шесть лет из десятки и реабилитированный за отсутствием состава преступления, Икс пытался вернуться в старый круг, но никто не захотел подать ему руки. Даже снисходительный Толя задумчиво сказал: "Не то беда, что он предал, а то беда, что он пошляк...".

Теперь этот пошляк, с которым Кузьма не захотел больше знаться, стал исторической личностью.

5. Пошлость

Пошлость — решающее слово нашего времени. Имя Иксам — Легион. Имя Иксам — тап (безличный субъект неопределенно-личного предложения и экзистенциальная категория у Хайдеггера). Есть пошлость либеральная, пошлость марксистская, пошлость христианская (недавно я прочитал, что об этом уже думал — и писал — В.В. Розанов).

Пошлость — слово русское, не вполне переводимое, европейской наукой не отшлифованное. Объяснить его трудно. Где-то по соседству с пошлостью низость, но низость — непременно минус, а пошлость — скорее нуль. Точнее: нуль личности. Потеря родовых образцов (с которыми можно и не быть личностью: достаточно твердости в обычае) и попытка нуля функционировать как положительная или хоть отрицательная величина. Отсюда — неуверенность и наглость (смирение Опискина, храбрость Грушницкого). Отсюда влечение к эффектной позе и культ героя сиюминутной прозы, власть пустого времени, моды. Пошлость тянется к позе бытия — и тотчас облепляет его, опошляет, (даже если это бытие — не только поза: пошлое обожание знаменитостей, пошлая образованность, пошлая церковность). Пошлость приходит в восторг и иступление, когда находит саму себя, одаренную харизмой (наверное, дьявольской). Я помню речь Гитлера (слышал по радио в 1940 году; заклятых друзей не глушили). Какие ничтожные аргументы! Какие дешевые приемы! Сгореть бы от стыда, если хоть раз пробьется такая интонация! Но как

подвывала этому шуту восторженная толпа, бывший народ Гете, Шиллера, Канта...

”Рабство готово улечься на брюхо перед мертвым диктатором, как лежало перед живым, — писал Б. Хазанов. — Рабству хочется верить всех, что сапоги, которые оно лизало, были все-таки сапоги гиганта. Мы часто, слишком часто слышали утверждение, что Гитлер и Джугашвили, ”как бы они ни были плохи”, — великие люди; иначе-де они не смогли бы вознестись до таких высот. Простой анализ механизмов выдвижения подобных личностей показывает, что, напротив, нравственное и духовное убожество как раз и было необходимым условием выдвижения. В этом-то и состояло величайшее унижение нашего времени, что на ролях всесветных вершителей... в нашем веке подвизались ничтожества” (из ”Писем без штемпеля”).

Душа, не чувствующая пошлости пошлости, создает темное облако, в котором выстраивается сказочный дворец диктатуры (Сталина, Гитлера, Хомейни). Пошлость может сохранить свободные учреждения только по инерции. Ей нужен вождь, дуче, фюрер. Ей нужен Великий Инквизитор, а не Христос. И если вся наша цивилизация обрушится, то в яму пошлости (строим большую вавилонскую яму, — говорил мой приятель). Яма растет со всех сторон, на всех континентах. Запад сохранил еще привилегию личности тявкать на пропасть; у нас и это не дозволено. Мы обязаны сползть по наклонной плоскости, сохраняя бодрую советскую улыбку. Отказ повторить пошлость — государственное преступление. Что же означает у нас раскаяние государственного преступника? Акафист пошлости.

6. Волна и пена

Там, где развитие было стремительным, как в России и других незападных странах, разрыв между требованиями, предъявляемыми личности, и ее действительной силой был особенно велик. Там разрушение предписанных образцов имело катастрофические последствия, дало катастрофический рост пошлости (и ее брата — хамства). Иногда эти цифры, если бы удалось их сосчитать, могли бы приблизиться к

квадрату скорости развития. Разумеется, это — интуитивная оценка.

И все же ни одна волна истории не сводится к пошлости и хамству. Полные тщеславия, торопясь себя показать, даже с риском свернуть себе шею, наглые пошляки забегают вперед и захватывают место героев дня. Но часто ненадолго. Так нигилисты шестидесятых годов и нечаевцы определили жертвенное поколение семидесятников. Так Якир и Красин выскочили впереди А.Д. Сахарова. Так выскочили вперед и покрасовались православные шуты. Гнойник в православном лагере оказался сегодня побольше, чем в либеральном — потому что либеральное движение сегодня не в моде, и пошлость, льнущая к моде, отхлынула от него. Людей колеблющихся, слабых, тщеславных, с неудержимым зудом писать, в либеральном движении меньше. Остались люди потверже, посамостоятельнее, показательного выступления по телевизору от них добиться трудно.

А где мода, там и пошлость. Это не черта православия и не черта либерализма; это черта моды.

Волны западничества и почвенничества сменяют друг друга в России, как утро и вечер. И каждая волна несет пену. Но в каждой волне не только пена. Западничество право, указывая на потерю лица в диалоге с прошлым. Почвенничество право, указывая на потерю лица в диалоге с современностью. Личность формируется в смене исторических испытаний, в смене одной ответственности другой, — еще более тяжелой. А безличность шумно пузырится на поверхности. Я не сомневаюсь, что шумовка, снявшая пену, не снимет самой волны. Но станет ли волна чище? Или она снова вышвырнет вперед новую шапку пены? Хочется первого. Вероятнее — второе.

В разных углах как бы идут одновременно два процесса. В одном углу предательство — смертнейший грех. А в другом человек предал, съел слоеный пирожок и утешился. В одном углу складывается одиннадцатая заповедь: не предай! А в другом шевелятся разнообразные попытки оправдать Иуду. Тем, что без воли Всевышнего и волос не упадет с головы. Или тем, что Иисус Христос принял на себя все наши грехи. Или еще что-нибудь.

7. Между пошлостью и хамством

Я обмолвился, что пошлость — сестра хамства. И сразу вопрос: почему? Потому что происходят они от одних и тех же родителей, — от одних и тех же обстоятельств. Начало пошлости и начало хамства — потеря предписанных норм и неумение приобрести новые, внутренние нормы. Пошлость приспосабливается к прогрессу, выдает себя за то, чего ей не хватает. Хамство откровенно бунтует. Но генеалогия у них сходная.

Одна из тенденций исторического процесса — движение от племенной и сословной индивидуальности к личности, определяющей себя целиком изнутри, — к "сильно развитой личности" (Достоевский). Но личность складывается медленно, а пошлость и хамство — как автомобили с конвейера. Если прогресс идет сравнительно гладко, индивидуальность всего только пошлеет. Если коряво — больше прорывается хамство. Модель нарисована М. Цветаевой в "Крысолове". Господство пошлости — Гаммельн. Хамство обрушивается на переполненные закрома, как нашествие крыс. Пошлость — черта сравнительно благополучной жизни. При неблагополучии пошлость легко уступает дорогу хамству. Пошлость — вялая форма лихорадки прогресса, хамство — острая (иногда летальная). В некоторых странах гаммельнское и крысиное чередуются, как день и ночь (взрыв тридцатилетней войны, два века мешанства, взрыв имперского шовинизма, Веймар, Гитлер, ФРГ). Пошлость сравнительно миролюбива и допускает развитие гения (Веймар Гете и Веймар братьев Манн, ФРГ), по мере сил опошляя его. Хамство вырезает Цицерону язык*. Но выбор между пошлостью и хамством — ложный выбор. Пошлость не спасает от хамства, так же как хамство не спасает от пошлости. Пошлость — мнимая стабильность, хамство — мнимый динамизм (мы к этому обстоятельству еще вернемся).

Пошлость комфортабельнее. Это болезнь, с которой можно ездить на курорты... Так болеют цивилизованные люди. Не то, что дикари, вымирающие целыми деревнями

* Ср. "Бесов" Достоевского.

от туберкулеза или сифилиса. И все же болезнь остается болезнью и подтачивает организм. Глядя на корчи России или Китая, Запад видит не только свое прошлое (отсталость, слаборазвитость), но и свою агонию, свое возможное будущее. Видит своих бесов, как в гипертрофирующем зеркале романа Достоевского. В конечном счете различия между странами условны и недолговечны. Общая катастрофа может все сравнять.

Запад играл первую скрипку в распространении прогресса. А сейчас Восток первенствует в распространении кризиса прогресса. Этот кризис обостряет все болезни западного происхождения и прибавляет к общему чувству бездомности, затерянности, утраты лица, захлебывания в сверхзвуковых и сверхмыслимых темпах* еще одну особенную, незападную болезнь: чувство неловкости в чужом культурном кругу. Отсюда два синдрома (западнический и почвеннический), две болезненные односторонности мысли. И западники, и почвенники говорят о потере лица, и они правы. Но в своих рецептах врачи расходятся. Западники предлагают найти лицо в современном окружении, почвенники – в собственном прошлом. Те и другие как-то упускают из виду, что культура живет на перекрестке, в *одновременном* диалоге с прошлым (вертикальная ось) и современным окружением (горизонтальная ось), что и прошлое, и окружающее – не свое, а только могут стать почвой, опорой первого лица, я, совершающего выбор, что потонуть в прошлом – значит потерять себя так же, как уйдя с головой в современность.

Диалог требует двух лиц: я и ты. Не может быть диалога, если нет первого лица, нет его оценки, выбора, решимости. Безупречное ТЫ поглощает Я и становится ложным подобием Бога, кумиром, перед которым в прахе распростерто рабство (прогрессу или почве). Живое Я опирается на свое прошлое против современности, на свое окружение против прошлого и никому не рабствует. Жизнь культуры – это постоянное чувство напряжения, созданное вторжением чужого и отчуждением каких-то слоев прошлого, это поиски нового в старом и своего в чужом.

* "Мы так давно обогнали медлящих проводников в вечность..."
Р.М. Рильке.

При медленном развитии повороты истории ощущают только немногие; они и мучаются, и вырабатывают ответ на вызов; мучается Пьер Безухов, Андрей Болконский, а Ростовы не мучаются. Но при ускоренном развитии нельзя не заметить сдвигов. История входит в частную жизнь и требует от маленьких людей того, что и большим трудно решить: решить, что здесь, теперь, хорошо и что плохо.

Как из этого положения вышел Запад? Достиг ли он уровня "сильно развитой личности" (как ее определял Достоевский)? Конечно, нет, если не говорить о единицах: о Кьеркегоре, о Швейцере, о Симоне Вейль... Только очень немногие — где бы то ни было — держат в собственном сердце своего Бога, и в эту глубину, в эту почву пускают свои корни. Только совсем немногие умеют решать, когда суббота для человека, а когда человек для субботы. У этих единиц нерушимая почва в духе, и сам дух становится основанием их свободной, разумной, нравственной и прекрасной жизни. Таких людей на Западе не больше, чем на Востоке. Даже меньше (я попытаюсь объяснить, почему). Но выше средний уровень. Есть какой-то прожиточный минимум личностного развития, способности решать, без которого парламентские и другие механизмы свободного мира не могут работать, разваливаются (как в большинстве цветных колоний, которым англичане, уходя, оставили на пробу парламент).

Нельзя освободить слаборазвитую личность. Сколько бы ни выстроить электростанций, заводов, дорог, слаборазвитая личность не выдерживает свободы, отказывается от нее, приносит в дар Великому Инквизитору. Легенду о Великом Инквизиторе создал не англичанин, не француз, даже не испанец, а русский — Федор Михайлович Достоевский. Он чувствовал вокруг себя ауру незавершенных, шатких, не подготовленных к свободе душ. Отчего они такие, кто их испортил, можно спорить (и даже приписывать все зло жидомасонам), но факт сам по себе неопровержим. На Западе средний человек покрепче.

Теперь разберем, почему. Напомню еще раз, что развитие цивилизации расшатывает табу, заповеди, предписания. И вот на одном полюсе складывается личность, кото-

рая постигла дух заповедей, держит закон в сердце и может найти выношенный в сердце ответ на каждый вызов, а с другой стороны — пошлость и хамство. Происходит что-то вроде преломления луча или (более грубая модель) перегонки нефти. Вверх бензин, вниз мазут. Есть народы, совсем мало преломленные; в них господствует белый свет. Они остаются на периферии истории. В терминах перегонки нефти они еще сырые. Есть народы умеренно преломленные (или перегнанные). Крайности в них не слишком далеко разошлись, остались рациональными (например, типы фанатического аскета и жизнерадостного скептика во Франции), не дошли до бездны иррационального (как самодур и юродивый в России). Такие народы здоровее, жизнеспособнее. Один англичанин — сплин (шутили в тридцатые годы), два англичанина — бокс, три англичанина — парламент, много англичан — цивилизация; т.е. один англичанин — не Бог вещь что, но много англичан — цивилизация.

А есть народы, слишком сильно перегнанные, поражающие то сияющей высотой, то мерзостью. Это мутанты истории, в них возникают новые духовные движения, но плоды движений пожирают другие, а сами мутанты теряют равновесие и проваливаются в бездны, которым слишком открыты.

Состояние мутанта нестабильно, и время от времени побеждает порыв к здоровому смыслу и золотой середине. Но даже в золотой середине мутанты перебарщивают и выходит эта середина неустойчивой (как состояние еврейства в земле обетованной, как гаммельнское в Германии). Мутант даже в состоянии антимутантности остается мутантом. У него другое чувство формы, чем у народов подлинно золотой середины. Бездна не вне этой формы, а внутри; от нее никуда нельзя деться.

Противоречия между народами вне бездны и народами с бездной внутри глубже и фундаментальнее, чем споры диаспоры и земли, Запада и Востока. Но ядро Запада — это народы, сдвинутые к золотой середине (англичане, французы, голландцы). Если они чем грешат, то не чрезмерной ангеличностью или демонизмом. По классификации Эдвина Рейшауэра, Германия — вне ядра Запада, это переходный тип. В некоторых случаях ее можно отнести к ”правиль-

ным” (устойчивым, умеренным) нациям, в других – к мутантам. Трагизм ее истории иногда напоминает библейский. К мутантам, бесспорно, принадлежит Россия, в известном смысле – Индия (хотя ее история – скорее мистерия, чем трагедия)*.

От евреев пришел свет в усредненный Рим, и Рим, подхватив фонарь апостолов, начал новую жизнь, а евреям досталось разрушение храма; Лютер начал реформацию: плоды ее победы пожали англичане, голландцы, скандинавы; немцам – Тридцатилетняя война. Очень может быть, что классическая русская литература пролила новый свет миру; но жизнь в России от этого не стала лучше**. Великие вспышки света, рождаясь в нестабильности, увеличивают эту нестабильность, доводят ее до катастрофы...

Увы, география духовных глубин совпадает с географией мерзости. Где чистая духовность нагорной проповеди, там и грязная суeta рынка. Где Иисус, там Иуда; где Эхарт и Бах, там Гитлер и Гиммлер. Где Мышкин, там Смердяков. Образцовые нации не доходят до такой мерзости, как нации-мутанты. Но без духовных вершин, поднимающихся рядом с черными ямами, нельзя было бы построить нашу общую культуру. Время от времени нужен ”свет с Востока”. Дело ”Востока” (т.е. мутантов) – выдвигать духовных гениев, а дело ”Запада” (образцовых, уравновешенных наций) что-то из опыта гениев вносить в повседневную жизнь, усреднить, довести до среднего человека и распространить по всему миру, как закон. Сейчас, по-види-

* Индия не получила ничего доброго от того, что колесо дхармы докатилось до Японии; но, кажется, и ничего худого. Как неподвижный двигатель, Индия осталась в какой-то мере вне истории.

** Достоевского называют пророком русской революции. В некоторых революционных кругах им зачитывались. Толстого любил Ленин и прямо продолжал ”срывание всех и всяческих масок”. По отношению к Западу, либерализму, прогрессу оба величайших русских писателя действительно были нигилистами и сознательно подрывали почву западной традиции, в которую неловко пускала корни петербургская Россия. Русская литература и русская критика сыграли свою роль в крахе русской свободы.

тому, Запад нуждается в новой порции света с Востока; а Восток — в новой волне вестернизации...

Мутанты сами по себе никогда не станут вождями человечества. Им не хватает равновесия. Их история — это история смут, тридцатилетних войн. Не дай Бог втянуть в этот хаос весь мир! Ошибка почвенников не в том, что Россия может рождать свет (может!), а в переоценке русской способности просветить среднего человека и создать светлый порядок. В самой России Мышкины и Безуховы слишком исключительны. Их реже можно встретить, чем Пиквиков в Англии; а Смердяковых — хоть пруд пруди.

Мутантам все время грозит падение, развал, разгул хамства; уравновешенным нациям — банальность, стереотипность. Поэт — не с гаммельнцами и не с крысами. Поэт — с Крысоловом.

Но к несчастью, в жизни все перепутывается. И поэт может оказаться с гаммельнцами, как Бунин, и с крысами, как Маяковский.

В охране культуры есть опасность защиты опошленного, ждущего ломки. А в новаторстве часто проступает хамство. Пошлость хрюкает в разносной рецензии замоскворецкого жителя на "Руслана и Людмилу", в статье Романа Гуля "Прогулки Пушкина с хамом". Хамство прорывается в антикультурных страницах Льва Толстого. Маяковский — и новатор, в желтой кофте хама (я сразу смазал карту будня), и хам в облике новатора (пускай земле под ножами припомнится, кого хотела опошлить!). Мы слишком хорошо помним, как реализовывались эти метафоры...

Мой бывший оппонент М.А. Лифшиц, видимо, очень остро чувствовал заряд хамства в новаторском искусстве. Но, к сожалению, он не учитывал, что зализанное, стереотипное, банальное, пошлое порождает взрыв хамства гораздо прямее, чем проповедь взрыва. Искусство вообще опасно. Искусство при свете совести — вечно большой вопрос. Не только для Цветаевой, для всех*.

* Это недооценивает и Б. Михайлов в своей полемике против эстетизма (Вестник РХД, № 134). Не в эстетизме дело (и не в модернизме), а в антиномиях духа. И не так просто найти виноватых.

В 1965 году, споря с Лифшицем, я настаивал, что идеи модерна сами по себе не хороши и не дурны. Все зависит от того, как их интерпретировать. В интеллигентной голове новаторская идея обнаруживает свою плодотворность, а хам превратит во что-то чудовищное любую идею. Мне возражали: в том числе непротивление злу насилием? Споры заставили меня признать, что известные комплексы идей более взрывоопасны, чем другие. Что научная идеология легче может быть использована во вред, чем религиозная. И все же только легче. Если шатание умов очень велико, то взрыв может произойти и от искры черносотенной религиозности... Так не случилось в России, но именно так случилось в Иране.

Хамство возникает всюду, где норма расшатана и опошлена. Хам, на первый взгляд, древнее пошлости, но, может быть, его только легче разглядеть, а пошлость, пока она не разрослась, незаметна и долгие века могла действовать потихоньку, не обращая на себя внимания.

Хама сразу запомнили и встроили в миф. Пошлость осталась без имени собственного. Мне хочется исправить эту историческую несправедливость. Может быть, у Сима, Хама и Яфета была еще такая незаметная сестра – пошлость? Пожет быть, почтительность Сима и Яфета немного опошлилась, и Хам был своего рода сердитым молодым человеком, новым левым, Владимиром Маяковским, вставшим против опошленного старого символизма? Без опошления норм мне трудно представить себе взрыв хамства. Без опошления Веймарской свободы я не могу себе представить поэта, сочинившего "Дрожат старые кости". У этого несчастного человека быстро наступило разочарование. Хамство не было его родной стихией. Тем более замечательно, что оно захватило его. Или, что Блок, который не был хамом, писал (чувствуя диктовку гения, водившего его пером):

Уж я ножичком
Полосну, полосну...

Без господства безличности, гениально описанной Хайдеггером, я не могу себе представить преклонения Хай-

деггера перед Гитлером. Без превращения всех идей и ценностей в заграничные патефонные пластинки не могу себе представить нынешний взрыв террора.

Истина сперва становится банальной, стирается, как монета, долго ходившая по рукам. Еще можно разглядеть, где орел, где решка, и чего монета стоит. Стершиеся две копейки стоят не меньше, чем новенькие. 2 x 2 — 4 остается истиной. Не прелюбы сотвори остается истиной. Но потеряв внутренний смысл: не давай полу власти над умом, минуя сердце. Держи Бога в сердце и сердце в Боге. Держи невесту в сердце, как образ Божий... Осталось предписание, на которое сердце перестало откликаться. Монета стерлась, не видно ни орла, ни решки. Безличность, пошлость. И поэзия восстает против пошлости (ср. Поэму Горы).

Ах, Господи, если бы Хам от рождения был черным! Но от рождения он бел, и только постепенно чернеет. Хам — сын беззаботного пьяницы, забывшего, что истины надо рождать заново, не надеяться, что они и без нас пребудут. Без нас, если не перечекаивать монету, все сотрется. Все станет сперва банальным, потом пошлым — и откроется дорога хамству. Одна из самых важных задач воспитания — обновлять заповеди, рождать заново "не убий", "не лже-свидетельствуй", "не предай"...

Пошлость и хамство — цена за взрывное развитие личности. За философию Сократа. За речи Демосфена. Личностью становятся единицы, хамами — десятки, пошляками — сотни. И в конце концов пошляки попадают под власть хамов и создают культ величайших, гениальнейших хамов. В свободных странах пошляки обожают певцов и кинозвезд. В тоталитарных они обожают своего дуче, вождя, фюрера.

На Западе опошленная добропорядочность еще удерживает взрыв хамства. На Востоке — непобедимый блок пошлости и хамства. А личность? Личность всюду в обороне; и едва хватает сил сопротивляться. Стоит ли игра свеч? Держать ли нам еще знамя свободной личности или бросить под ноги торжествующим свиньям? Где гарантии, что общая свобода не приведет к новым взрывам низких страстей, что чувство ответственности вдруг вырастет, расширится и все спасет? Что новый шаг вперед ничтожно малой

кучки не вызовет новых неожиданных последствий похуже прежних?

Остается одно — верить. И я верю, что сильно развитая личность стоит выше всех издержек, что она сама — смысл и свет. И свет во тьме светит, и тьма не объемлет его.

1981-1982.



**НОВАЯ
КНИГА
ИЗДАТЕЛЬСТВА
«СИНТАКСИС»
ЦЕНА — 84 фр.фр.**

ЧЕТЫРЕ СТАТЬИ

ОТ АВТОРА: Статьи образуют естественную последовательность: Пушкин*, Неуверенность, Инакомыслие, Видь и внемли.

Неверующий автор придает важное значение тому, чтобы слово "бог" писалось с малой буквы. В старой России никогда не писали с большой буквы других богов, кроме христианского. Автор же не верует ни в какого.

ФИЛОСОФИЯ НЕУВЕРЕННОСТИ

Наш современный интеллигент представляет собой почти не изученный тип человека. Предшественник его, до-революционный русский интеллигент, более не существует, и над могилой его протекли реки чернил. Очернили его столь основательно, что отмыть покойного до исторической узнаваемости все еще остается задачей будущего историка. Главная причина, по которой старый русский интеллигент стяжал себе столь незавидную репутацию, — это его общеизвестное бескорыстие: не имея никаких планов для себя самого, кроме стремления унавозить собою почву для будущего, он исчез, предоставив эту почву заботам народа.

Прислано из России.

* См. А.Н.Кленов. Пушкин без конца. «Синтаксис» №10

Из народа и вышла та социальная группа, о которой дальше пойдет речь. Следует иметь в виду, что прямая — физическая и культурная — связь этой группы со старой русской интеллигенцией пренебрежимо мала. Интеллигенция нашла свой конец в эмиграции или в лагерных общих могилах; немногие уцелевшие семьи, потеряв отцов и дедов в пердрых минувшей эпохи, трогательно приспособились к установившемуся уровню дикости. Немногие деятели, проявившие готовность на все для спасения своей жизни и комфорта, умерли не так давно или готовятся умереть дряхлыми старцами: это последний эшелон наших ”специалистов”, способных грамотно писать по-русски и, в минуты откровенности, отдавать себе отчет в собственном положении.

Нынешний наш интеллигент, как и старый, вышел из народа, но вышел совсем по-иному. Принцип отбора, создавший старую русскую интеллигенцию, основывался прежде всего на способностях. Правящие круги России ощущали потребность в образованных чиновниках, техниках, офицерах; конечно, ощущение это всегда было связано с опасениями охранительного рода, но без европейского образования Россия не могла бы уцелеть уже в восемнадцатом веке. Реформы Петра и создали русскую интеллигенцию; как всегда бывает в истории, последствия этого факта вышли далеко за пределы его первоначальной причины. Учить приходилось не только дворянских детей, а сплошь и рядом худородных, если только они могли и хотели учиться. Аппарат образования был целиком пересажен с запада, вместе с критериями выбора профессоров, способом экзаменов и т.д. Конечно, уже при Николае Павловиче проявилась тенденция ставить лояльность выше других заслуг: известное изречение этого императора, что русские все об отечестве хлопочут, а немцы преданы лично ему, предвещало уже другой стиль государственного руководства. Однако, эпоха великих реформ обратила систему образования к ее существенным задачам: исторические условия требовали того, что теперь называется ”квалифицированными кадрами”. Конечно, после Крымской войны оставался и другой выход: откровенно признать политическую власть иностранцев, перейдя в положение посредников-компрадоров

в колонизации России. К чести правителей того времени, на столь радикальное решение они не были способны. Все же эти люди сознавали себя хозяевами России, а не лакеями, не умеющими жить без господ.

Окрепшие русские университеты и институты стали очагами культуры, и явились в России семьи, где уже несколько поколений знали свое ремесло, читали важные книги на европейских языках и превыше всего ставили благо народа, со всей серьезностью обсуждая, в чем оно состоит.

Совсем иначе выходил из народа наш новый интеллигент. Ему не надо было пробивать себе путь к образованию тяжелым трудом: классовые привилегии проложили ему дорогу, убрав с нее интеллигентских детей и вообще всех, чьи родители занимали уже какое-то место в жизни. Мотивировалось это, конечно, социальной справедливостью, но дело не ограничивалось созданием ликбезов и рабфактов для обделенных культурой: по существу, все *не* обделенные ею были поставлены в положение классового врага. Таким образом, отбор по способностям был отброшен и заменен — вначале — отбором по "социальному происхождению". В стране, где "наследственный пролетарий" был редким исключением, хорошее соцпроисхождение означало происхождение крестьянское или мещанское. Конечно, в двадцатые годы влечение к образованию было еще сильно, и лишь постепенно сменилось сознательным или подсознательным карьеризмом. Но привилегия рождения, особенно при отсутствии сопутствующей ей сословной этики, неизбежно ведет к разложению морали. Вместо классового происхождения очень скоро установился критерий политической лояльности, а по мере формирования нового правящего класса он нечувствительно перешел в критерий лояльности начальству. В послевоенные годы идеологические соображения и государственные интересы были окончательно переведены в разряд более или менее изящной словесности, и лояльность начальству стала означать вполне конкретную приспособленность, притертость к ближайшему чиновничьему окружению.

Очевидно, в этих условиях *способности* должны были превратиться в нечто второстепенное и даже подозритель-

ное, поскольку всеохватывающий принцип лояльности не терпит конкуренции пережиточного принципа, чуждого законам функционирования аппарата. Да и на практике оба критерия трудно совместимы, потому что способный человек крайне неохотно повинуетя бездарному, и даже по-винуясь, причиняет ему серьезные травмы. После некоторых переходных явлений во всех местах, где интеллигент получает зарплату, установился порядок, лучше всего описываемый итальянской пословицей: "где не лезет голова, просовывают хвост". Само собою разумеется, при таких порядках деятельность ученых учреждений скоро становится чисто мнимой, и "передовую технологию" приходится покупать за валюту у иностранцев; а это прямо ведет к тому самому решению, на которое никак не могли пойти былые хозяева земли русской. Но все это служит лишь фоном интересующего нас явления и по необходимости описывается здесь в самых общих чертах. Историки займутся этим в более спокойные времена.

Какой же тип человека вырабатывается в этих условиях? Мне хотелось бы заметить, что термин "тип человека" я заимствую у Экзюпери. Как все великие философы, он пытался понять свое время, но не имел времени написать о нем подробно — от него остались неразборчивые записи, расшифрованные после его смерти и составившие так называемый "дневник". Экзюпери считал, что оценка каждого человеческого общества должна определяться не его материальном могуществом или благосостоянием, а *типом человека*, который оно создает. С этой точки зрения целью общества является человек, и если человек в данном обществе жалок и бессилён, то и средства, порождающие такого человека, должны расцениваться как бессмысленные и вредные. Конечно, Экзюпери продолжает здесь (и формулирует для нашего времени) некоторую философскую традицию, которую можно принять или отвергнуть. Есть и другие традиции, ставящие на главное место государство-муравейник и подчиняющие ему человека-муравья или описывающие все-это-что-с-нами-происходит как детали непостижимой биографии божества. Эти другие традиции, и в особенности первая из них, могут сделать философа нечувствительным к такой мелочи, как отдельный че-

ловек. Божество может вдруг возжаждать свободной любви человека, и тогда ему уже не все равно, способен ли человек его свободно любить; государство же не требует любви, а оплачивает по тарифу телодвижения.

Какой же тип человека вырабатывается в наших университетах, конструкторских бюро, культурных учреждениях? В описанных выше условиях у человека складывается состояние, называемое "фрустрацией". Слово это означает психическую подавленность, разбитость, возникающую в результате какого-либо жизненного поражения. Фрустрация от любовной неудачи может сделать физически здорового человека импотентом. Всякое поражение, не вызывающее у человека реакции сопротивления и реванша, ведет к состоянию психического бессилия, главным признаком которого является неуверенность в себе. Поражение, с которым сталкивается наш интеллигент, — это не карьерное поражение, которого может и не быть, и даже не профессиональное поражение, потому что в ряде случаев покорность начальству удается совместить с некоторыми спортивными достижениями в своей специальности. Речь идет о *биологическом* поражении, столь же глубоким, как фрустрация половой сферы, и отнюдь ей не чуждом; поражение это присутствует в самых удачных, самых благополучных биографиях, оно неотделимо от жизни нашего интеллигента, если только — по исключительно счастливому стечению обстоятельств — он не перестает быть "нашим", ускользнув, таким образом, от общего закона фрустрации. (Конечно, здесь не имеется в виду эмиграция, попросту переносящая "наших" в "не нашу" обстановку).

Человек наделен инстинктами, составляющими основу его психической жизни. Одним из сильнейших инстинктов человека, исследованным сравнительно недавно и имеющим фундаментальное значение для объяснения человеческого поведения, является "внутривидовая агрессивность", оборонительная и наступательная реакция, направленная против любого другого человека. Как и все инстинкты, эта реакция сама по себе не хороша и не плоха, а может приобрести этическую оценку в зависимости от своего социального проявления. Бывают случаи, когда этот инстинкт принимает разрушительный, опасный для общества

характер, ведет к садизму и преступлениям. В более "здоровых" случаях естественная агрессивность человека, сдерживаемая другими стимулами социального поведения, принимает характер *самоутверждения*, и в таком виде представляет законное и необходимое проявление человеческой личности. Конечно, из всех возможных способов самоутверждения общество выбирает и санкционирует лишь некоторые, социально приемлемые. Иерархия организованного общества предоставляет каждому человеку определенные "степени свободы", дозволенные ему способы действия, в пределах которых он и пытается утвердить свое человеческое "я". Естественные агрессивные импульсы человека, отведенные в некоторые свободные русла, становятся, тем самым, движущими силами его семейной, профессиональной и общественной жизни. Такая "переадресовка" инстинктивных импульсов называется (чаще всего в применении к творческой деятельности) "сублимацией". Возможность сублимации чрезвычайно важна для здорового развития личности: если агрессивность не находит себе "законного" выхода, она обращается — одинаково разрушительным образом — против других людей или против самой личности, зажатой такими условиями жизни.

Для обычного, не "интеллигентного" советского чиновника способы самоутверждения определены однозначно: это утехы призрачной власти в паркинсоновски замкнутом мире бюрократии и, в дозволенных чином пределах накопления и демонстрации имущества, нечто вроде постоянного конкурса воров по известным кавказским образцам. Для интеллигента дело обстоит сложнее. Желая сделать карьеру, он вкладывает в это предприятие особого рода капитал — свои профессиональные знания и способности. Не будь у него таких знаний и способностей, шансы его на продвижение были бы среднеарифметическими (конечно, при обязательном условии *полуарийского* происхождения — не немец и не еврей). Этот свой капитал и несет интеллигент в учреждения, где рассчитывает получить от него оптимальный доход. Но беда в том, что капитал этот, как уже сказано, особого рода, очень неудобно сочетаемый в ходе оптимизации с другими видами карьерной одаренности. Те самые свойства, которые дают интеллигенту

ту преимущества перед среднеарифметическим чиновником, служат орудием его *самоутверждения* в чиновничьем мире: как раз по причине своей "интеллигентности" он должен считать себя лучше других. В самом деле, человеку свойственна почти непреодолимая тенденция строить свое самоутверждение как раз на тех преимуществах, какими наделила его природа: белой или черной коже, половой потенции или способности пить водку, физической силе или физической интуиции. Повинуясь этому психологическому закону, интеллигент строит свое самоутверждение на том специальном виде способностей или навыков, который и делает его "интеллигентом" в собственных глазах. При этом вовсе не обязательно, чтобы такое преимущество реально существовало: мнимые преимущества с еще большей легкостью ведут к тем же патологическим последствиям.

Однажды возникнув, такая установка становится неотделимой частью самосознания интеллигента, его "я-образа". Но тогда он неизбежно вынужден принять пережиточный, скомпрометированный в советском обществе принцип "отбора по способностям". Здесь важно подчеркнуть, что речь идет не о сознательном, сколько-нибудь произвольном выборе ценностей, а о гораздо более глубоких, четко детерминированных процессах, происходящих в подсознании субъекта. Универсальность этих психических механизмов нисколько не затрагивается искренним желанием субъекта жить как все, не лезть на рожон, его столь же искренним непониманием более высоких жизненных целей, чем учная степень, квартира или автомобиль. И вот встроенный в подсознание интеллигента принцип отбора по способностям сталкивается с господствующим принципом отбора по лояльности — и самоутверждение его оказывается сломленным уже на первых этапах карьеры. Преимущества, уже не отделимые от "я-образа", с которыми он связывает свои надежды, позорнейшим образом фрустрируются успехами комсомольского деятеля, обязательного студента студенческой группы или особо протезируемого отпрыска номенклатурного семейства.

"Нормальная" реакция, которая могла бы спасти интеллигента от последствий такой фрустрации, кажется

вполне естественной и наблюдалась в таких ситуациях в былые времена; назовем ее "вторичной компенсацией". Если "первичная компенсация" интеллигента состояла в том, что в какой-то момент его школьной жизни ему удалось компенсировать недостаток физической силы или гормонального превосходства умением решать задачи или писать сочинения, то во "вторичной компенсации" интеллигент должен отбросить всю систему ценностей, делающую его человеком низшего сорта, и научиться презирать своих удачливых конкурентов с позиций некоторой другой системы ценностей, предпочитающей его собственные преимущества и способной доставить ему требуемое самоутверждение. Но этого наш юный интеллигент сделать не может. Он не может отбросить чиновничью, карьерно-воровскую систему ценностей, усвоенную им в детстве от родителей и составляющую уже неустрашимый слой его психической ткани. Чтобы подобная перестройка ценностей могла произойти, необходимы совсем другие, достаточно рано приобретенные и достаточно глубоко заложенные представления, конкурирующие с общепринятой философией успеха: представления этические, эстетические или, как это чаще всего бывало в прошлом, религиозные, некогда составлявшие прочную основу формирования личности. Но как раз этих представлений нашему интеллигенту и негде взять в его убогом, ограбленном детстве, у его жалких, уже духовно искалеченных родителей. В попытках утвердить себя он хватается за все доступные ему виды самообмана. Он готов даже отказаться (на словах) от доктрины потребительского материализма, он крестит потихоньку своих детей, дает им непривычные русские имена и проявляет сентименты по поводу органически чуждой ему старины. Но все это ни к чему не ведет, потому что не имеет корней в его воспитании. На практике наш интеллигент всегда держит свой товар в сухом месте. Это немецкая поговорка, подходящей русской не могу сразу припомнить. Но и русская, без сомнения, найдется — в мещанском слое нашего фольклора. Ведь наш нынешний интеллигент, как правило, *мещанского* происхождения, и он хочет соединить психологию лавочника с претензией на честность и умственное превосходство.

Конфликт между несовместимыми ценностями загоняется в подсознание, становится его хронической болезнью, трещиной, по которой разрушается личность. Постоянное, неустранимое состояние фрустрации, внутренней сломанности и является тем фоном, на котором разворачиваются его комические поиски самооправдания, при уловках побольше откусить от казенного пирога.

Теперь мы уже подготовлены понять философию нашего интеллигента, ту самую, которой мы пытались дать название в заглавии этой работы. Внутренне сломленный, потерпевший глубокое биологическое поражение в своей попытке самоутверждения, наш интеллигент должен создать для себя философию, в свете которой он выглядел бы сколько-нибудь прилично. Форма такой философии зависит, конечно, от его индивидуальной способности к самообману. Может показаться, что мы встречаемся здесь с разными взглядами, начиная с откровенно ущербных, бесцельно восхваляющих отсутствующие доблести, до мнимо самодовольных, признающих всякие доблести несвоевременными. Но в основе всех этих взглядов, как мы увидим, лежит одно и то же психологическое содержание.

Наиболее обычная и самая спокойная с виду доктрина, имеющая хождение в нашей интеллигенции, представляет собой малограмотную подделку философского скептицизма. Истинный скептицизм всегда был плодом глубокого творческого страдания, связанного с мучительным отвержением какой-то части собственного существа. Ничего подобного у нашего интеллигента не может быть, поскольку ничего по-настоящему важного для себя он не отвергает, а пытается все совместить; страдать же он не умеет и не согласен, а, напротив, всю жизнь старательно уклоняется от любого страдания. Мнимый скепсис его касается лишь вещей для него в сущности безразличных, хотя и представляемых с некоторым традиционным почтением. Если речь идет о религии, то он готов признать аргументы и за, и против бытия божия, так как внутренне убежден в практической неважности этого вопроса. С другой стороны, традиция и приличия требуют, чтобы вопрос этот обсуждался с видимой серьезностью. Сочетание полного внутреннего равнодушия к богу и причитающегося ему декорума превращают

религию в лакомый кусок для застольных разговоров. При этом допускаются любые взгляды, за исключением "крайних", вызывающих сомнение в подлинности: нельзя быть, или притворяться, *не сомневающимся* верующим или *не сомневающимся* рационалистом. Состояние сомнения, столь мучительное для всех искренне добивающихся истины, служит в этом обществе неперемнным условием душевного комфорта. Удобным оправданием такого состояния служит слабость человеческого разума: такая позиция особенно комфортабельна, поскольку сторонникам ее чрезмерные умственные усилия просто не подобают. Другая излюбленная тема обсуждения — гражданская. Вопросы о путях развития общества, о революциях, о демократии изобилуют пикантными темами для разговора, при условии, что все это не воспринимается всерьез и, следовательно, не требует никаких поступков. Чтобы такое требование не могло возникнуть, достаточно настаивать на бесконечной, неразрешимой сложности общественных дел. Все вместе составляет приятное препровождение времени, напоминающее известное определение Писарева: "кукольная комедия с букетом гражданской скорби".

Единственное правило игры, которого здесь обязательно придерживаться, — это *никогда ни в чем не быть уверенным*. Ни в каком вопросе нельзя иметь выработанного, определенного мнения; но пуще всего запрещается — знать, как себя вести. Сомнение по поводу поступков является первым условием существования нашего интеллигента; оно зашло у него дальше, чем у любого поколения людей, жившего до нас. Люди, жившие до нас, хотя бы теоретически допускали возможность какой-нибудь этики. Римляне времен упадка, уже не принимая себя всерьез, сохранили все же восхищение доблестью предков, и вот нашелся герой, разбивший гуннов на Каталаунских полях. Очевидно, последние римляне не доросли до нашей утонченности, недооценив достоинства гуннов: может быть, их надо было приветствовать, как рекомендовал в свое время Брюсов?

В любом упадке люди искали спасения, надеялись на приход избавителя, и если уж не мог им помочь ни бог, ни царь и не герой, то высказывали совершенно непости-

жимую надежду спастись собственной силой. Кто не знает, что это учение большевистское, и что из него вышло? Надеяться на сверхъестественного избавителя еще дозволяется, но без неуместного энтузиазма. Ведь слишком сильно надеяться — значит предвидеть, а предвидеть нам не дано.

Поразительное резюме этой философии принадлежит известному современному поэту, прямо предупреждающему нашу публику, под каким видом должен явиться Антихрист; опасаться надо тех, кто скажет: "я знаю, как надо". Здесь — кажется, впервые в истории — неуверенность в себе выступает не робко и стеснительно, а в некотором роде требовательно и агрессивно, в качестве этического императива. Возможно, автор этой песни, вообще выражающий душевное состояние не типичного, более совестливого интеллигента, полагал, что воспитывает своих слушателей в христианском духе.

В самом деле, в евангелии можно найти предостережение от ложных пророков; теперь же нам открылось, что истинных пророков не бывает.

* * *

Человек, которого мы описали, не может быть носителем никакой интересной философии. В самом деле, чего стоит философия, служащая лишь для самооправдания и застольных разговоров? Подлинной философией такого человека является его подсознательный практицизм, ориентирующий его на достижение и сохранение статуса и материальных благ. Назовем эту философию, для краткости, *мещанской*, хотя это название неточно. "Сознательная" же философия нашего героя, словесная надстройка, рационализирующая его поведение, представляет собой беспорядочную смесь унаследованных идей, рассыпающуюся при первом прикосновении. Таким образом, ни подлинная, ни мнимая его философия не представляет "философского" интереса. Наш интерес к этой философии — социологический. Зоолог может интересоваться существом, ничем не привлекающим наши чувства. Точно так же, мы можем интересоваться *остаточным человеком*, продуктом разло-

жения некоторой культуры, — скучной и беспомощной личностью нашего современника, — именно потому, что он наш современник, которого надо основательно понять и изучить, чтобы можно было что-нибудь сделать с обществом, окружающим нас в конце двадцатого века. Но, конечно, мы не можем относиться к нему с невозмутимым спокойствием зоолога, потому что он все-таки наш ближний, потому что в нем от рождения заложена невероятная возможность быть человеком. Мы дали ему название, требующее исторического обоснования. Надо было бы написать историю распада западной культуры, иначе именуемой христианской, и показать, каким образом возникла эта переходная форма человека, — переходная к чему-то, что может быть лишь более совершенным человеком, или уже не человеком вообще, и завершить эту историю объяснением, почему вторая из этих возможностей неизбежно приведет к физической гибели вида. Но такая задача далеко выходит за пределы нашей небольшой работы. Поэтому мы даем нашему человеку имя несколько произвольно. Следовало бы перевести этот термин на латынь, по образцу зоологических видов: homo habilis, homo sapiens. Итак, назовем его homo reliquus.

Конечно, мы занимаемся здесь лишь определенной разновидностью этого человека — современным советским псевдоинтеллигентом. Для краткости мы будем называть его просто "интеллигентом", как он сам (наивно) себя называет.

Заметим, прежде всего, что *подлинная* философия нашего интеллигента может быть названа мещанской лишь по своей основной психологической установке, направленной на имущество и социальный престиж. Но исторически это название неточно. Дореволюционный ("горьковский") мещанин был человечески значительнее и крепче. Даже не углубляясь в традиционные основы его личности, легко заметить, что он отличался от современного мещанина в двух важных отношениях: он способен был ставить себе честолюбивые цели и в достижении этих целей был реалистом. Для "горьковского" мещанина главным мерилом достижений были деньги, а от денег уже зависело его общественное положение. Нынешний же мещанин измеряет свои успехи

статусом, а от статуса уже зависят все другие блага, к которым он стремится. Иначе говоря, он *чиновник*. Если он при этом интеллигент, то есть делает карьеру при помощи своих умственных способностей или художественных дарований, то он обычно не рассчитывает на высокие должности в партийном или государственном аппарате, поскольку там эти способности и дарования несомненно мешают и, за исключением кучки особенно виртуозных жуликов, никому еще не удалось туда пробраться с таким багажом. Предел его честолюбия — стать академиком или членкором, народным или заслуженным артистом. Но и этих целей достигнуть трудно — слишком уж много желающих, и требуется не то чтобы особенная одаренность, но особенная ловкость, а с этим тоже надо родиться. Поэтому цели нашего интеллигента определяются, как правило, более низким уровнем чиновничьего успеха. Если он "ученый", то целью его становится уровень доктора или кандидата: это и значит быть ученым в его глазах. Достигнув своего предельного уровня, чиновник-интеллигент может еще пытаться перейти в более престижное учреждение, если он начал "на периферии", перебраться в Москву и т.д., но все это случается редко. Обычно он сидит всю жизнь на одном месте, принимает форму этого места и затрачивает всю свою энергию, чтобы на этом месте удержаться, извлекая все свои удовольствия и огорчения из служебных сплетен и интриг. Это — вся его жизнь. Малейшее изменение в условиях его существования выбивает его из колеи: вне своего учреждения, своего насиженного места он беспомощен, как ребенок, суетлив и плаксив. Выражаясь биологическим языком, советский интеллигент приспособлен к своей экологической нише, вне которой не может существовать. Но человеческие учреждения не столь долговечны, как условия жизни животных. Поэтому советский интеллигент никогда *не уверен* в своем благополучии: "реорганизации", "сокращения штатов" воспринимаются им как стихийные бедствия, а "реформа" может быть для него экологической катастрофой. Он всячески противится любым переменам, потому что лишен гибкости и воображения. Часто мы видим, как человек, вчера еще скрупулезно рассчитывающий мельчайшие варианты своих служебных дел, в изменив-

шихся условиях сразу теряется, делает невообразимые глупости и как будто перестает понимать единственно важные для него интересы. Нет, ассоциация с "горьковским" мещанином для него незаслуженно лестна. Его нельзя сравнить не только с удачливым дельцом, ворочавшим миллионными предприятиями, но даже с лавочником или ремесленником, имевшим свое независимое "дело", считавшим себя "хозяином" и противостоявшим, как отдельная личность, рынку и конкуренции. Если иметь в виду подлинные основы поведения советского интеллигента, его психологический "базис", то сравнить его можно только с особым типом дореволюционного мещанина — чиновником.

Выяснив человеческую сущность нашего интеллигента (или его "структуру личности", если выразить то же научным языком), обратимся теперь к его "идеологической надстройке", к сознательной и словесной составляющей его мышления.

* * *

Прежде всего, он считает себя рационалистом. Главный символ его веры отрицательный: это недоверие к любой "философии" и "идеологии". Его слишком долго дурачили марксизмом, и он не верит ни в какую общественную доктрину. Можно сказать, что в общественной жизни он не ведает добра и зла, а в личном существовании уклоняется от любого человеческого идеала. Чтобы сразу избавиться от всей этой премудрости, у него есть простой критерий: он не доверяет словесному тексту без формул. Магические символы, включающие его механизм доверия, — это математические знаки. И здесь нетрудно усмотреть наследие той же марксистской идеологии, которую он обычно пытается оттолкнуть. Марксисты все сводят к экономике и вычисляют проценты, история партии набита плановой цифирью, — а нашему интеллигенту мало уже процентов; чтобы внушить ему уважение, требуется интеграл. У него вызывают подозрение даже строго научные исследования, не допускающие на своей нынешней стадии количественного описания, а в том, что касается человека, все великие озарения человеческой мысли для него попросту не существ-

вуют. Конечно, эта его "математическая" установка может быть исторически объяснена. Родители его учились на раб-факе и принадлежали уже к так называемой "научно-технической интеллигенции", уважавшей только "умные машины, в которых дышит только интеграл": им не достались уже плоды из "барских садоводств поэзии — бабы капризной". Барские садоводства были разорены, то есть культурная традиция прервалась, и там, где растет и воспитывается наш интеллигент, уже попросту не у кого узнать, чем хорошие стихи отличаются от плохих, и как можно что-нибудь сказать о картине, не выучив заранее, что об этом художнике принято говорить. Тем более некому объяснить, о чем говорится в философских книгах. Наш интеллигент охотно признает, что для понимания научных книг нужна математическая культура, но не хочет и слышать об эстетической и философской культуре, полагая, что его хотят надуть. И тут уже действуют не только исторические, но и психологические причины: чтобы оправдать свою духовную неполноценность, он отрицает самое существование духовной жизни. Верит он лишь в "объективное", а объективно для него то, что можно "научно доказать".

Между тем, наука в собственном смысле содержит лишь *принудительную* часть человеческого опыта, то, что человек *вынужден* принять, выполнив такие-то опыты и логические выкладки. Нынешнее преклонение перед наукой (и демонстративное отвращение от науки в некоторой части той же среды) выражает не только убогую гносеологию, но и *потребность в принуждении*, во внешнем авторитете. Это одно из проявлений того, что Эрих Фромм назвал "бегством от свободы". Роль внешнего авторитета, принадлежавшая прежде религии, теперь возлагается на "объективную науку". От науки ждут ответа на все вопросы, относящиеся к человеческой жизни. Но оказывается, что на самые важные из этих вопросов наука ответить не может. Наука ничего не говорит о смысле жизни, о цели человеческого существования. В применении к этим вопросам она играет всего лишь роль инструмента, доставляя человеку *средства* для достижения тех или иных целей. Сами же цели берутся из культурной традиции и воспринимаются в раннем детстве из окружающей человеческой среды.

Как мы уже говорили, культурная традиция прервалась, и разрушены были не только "барские садоводства" утонченной духовной жизни, но и простейшие механизмы воспитания, формировавшие установки поведения. С точки зрения нашего интеллигента, культурная традиция вообще есть нечто маловажное и достаточно произвольное, подобно деятельности министерства культуры, самого не существенного из всех министерств. Культуру он связывает с развлечениями и располагает в рамках так называемого "свободного времени", на обочине жизни. Это и понятно, потому что культурная традиция не принудительна в том смысле, как наука. Были и другие культуры, и этнографы утверждают даже, что у "примитивных" народов тоже есть какая-то культура. В этой области ничего нельзя *доказать*: нельзя доказать, что памятники прошлого заслуживают уважения, что нельзя плевать на пол и дымить в лицо соседу, что нельзя обижать детей, оскорблять стариков, спать с чужой женой или убивать под каким-нибудь предлогом людей, когда они тебе мешают. Конечно, наш интеллигент-рационалист не станет все это одобрять, но уверенность его в ценности культуры и, в частности, ее этических принципов гораздо слабее его веры в "науку". Все эти вещи нельзя *доказать*, а отсюда выводится, что им нельзя приписать *абсолютную* ценность, какую имеет для него таблица умножения или метод наименьших квадратов. Если же этические принципы не абсолютны, то можно составить уравнения, содержащие в виде равноправных членов зарплату, любовь, квартиру и престарелых родителей, а в критических положениях можно торговать своим достоинством и честью, поскольку все эти вещи имеют лишь *относительную* ценность и, стало быть, их можно обменять на другие.

В известном смысле такой подход к жизни рационален: пусть лучше пострадает один человек, чем весь народ, сказал первосвященник Каиафа. Мы имеем здесь дело с очень древней установкой, и "наука" служит лишь для ее обоснования. Установка эта происходит не от того, что у человека есть, а от того, чего ему недостает. На человека с таким складом души ни в чем нельзя положиться: он всегда *вычисляет*.

Отсюда можно понять, почему наш интеллигент считает неразрешимо трудными все вопросы, относящиеся к человеку. Среди этих вопросов есть легкие и трудные, очевидные и запутанные, но для него — *все* запутано и *все* трудно. Для *вас* очевидно, что государство не имеет права навязывать человеку мысли, место жительства или жену, но это очевидно для вас потому, что *обратное*, по вашей системе ценностей, просто недопустимо. Для *него* же все это не очевидно, потому что никакую систему ценностей нельзя ”доказать”: это *вы* так думаете, скажет он вам, а кто-нибудь другой может думать иначе. Легко догадаться, какую роль играет такая *установка неуверенности* в жизненной практике нашего героя: это его способ отпустить себе грехи. И не думайте, что он устыдится и исправится, если все это прочтет. Он не может, потому что ему нечем быть человеком. В приятных обстоятельствах он будет вести себя вполне прилично, вы будете считать его добрым товарищем, коллегой, даже другом; но в трудную минуту вы увидите, как в нем что-то щелкнуло — сработало вычислительное устройство — и вот, он не хочет платить большую цену за то, что не имеет цены. Можно ли считать его человеком? Может быть, нет. Это опасная точка зрения, из которой могут произойти пагубные последствия. Кто-нибудь, изучив такое рациональное чудовище, может прийти к выводу, что к нему не следует применять правила общения с человеком, а надо обходиться с ним так, как он сам обходится с окружающим миром. Я не хотел бы пустить в обращение такую доктрину, но когда я вижу этого рассуждающего робота, мне хочется его выключить, потому что его не должно быть. И тогда я внушаю себе, что всегда была человеческая слабость и человеческая корысть, и всегда люди толковали о ценностях, оправдывая свои грехи. Но ценности эти всегда *были!* Человек, для которого нет ничего святого, вызывает у меня ужас. Я не чувствую в нем своего ближнего. И я рад, что время его скоро пройдет.

Человек может существовать, пока у него есть ценности его культуры, потому что человек, по удачному выражению одного биолога, есть ”культурное существо”. Ценности эти — понимаемые в *абсолютном* смысле, иначе они *не* ценности — входят в определение человека. Человек мо-

жет быть слаб и подл, как говорил Великий Инквизитор, но и в этом случае он *признает* свой закон, обвиняя себя в грехе. Если же у него *нет* закона, то он не человек, и выжить не может.

Но пора уже спуститься с метафизических высот и продолжить исследование нашего героя. Он считает себя рационалистом — посмотрим же, какого качества его рационализм. Мы увидим, что и это название для него незаслуженно лестно, как и прозвище мещанина. В самом деле, в прошлом рационалистами называли себя люди, верившие не в бога, а в человеческий разум, следовательно, — в *человека*. Такая вера возникла из веры в бога, она имеет также другое название: *гуманизм*. Это название лучше, потому что человек не сводится к разуму, и нельзя верить в человеческий разум, не доверяя человеческим чувствам и человеческой воле. И если называть рационализмом последовательный гуманизм, не нуждающийся в боге, то вера эта возникла на рубеже нового времени, достигла высокого развития в девятнадцатом веке и подверглась тяжелым испытаниям в двадцатом. Ученые нового времени, как правило, верили в человека, но не верили в бога. У них был пафос утверждения человека, освобождения его от мистификации богом, от переноса идеальных свойств человека на фиктивный внешний объект. У них было увлечение процессом познания, была вера в безграничность познания, но настоящие ученые никогда не думали, что вся нужная человеку мудрость может быть найдена в лаборатории, и не подозревали, что наука может убить культуру, если потеряет разум и захочет быть *всем*. Ученые прошлого были плоть от плоти своей культуры, они хотели освободить ее от примитивной, пережиточной части ее наследия. Оставаясь в своей культуре, ученый оставался человеком. Теперь *наука выпадает из контекста культуры*, и традиционный тип ученого исчезает. На место ученого-человека, ученого-гражданина приходит ученый-техник, ученый-спортсмен. Интересы его ограничиваются его рабочим местом в непостижимом, вышедшем из поля зрения индивида производстве, смысл и цели которого никто не пытается определить. Он попросту изготавливает свою деталь и кладет ее на конвейер, движу-

щийся никуда. Все это напоминает огромный завод, где забыли построить сборочный цех.

В таких условиях неизбежно меняется психология ученого и самое понимание науки. В частности, исчезает психологическая основа рационализма — вера в человеческий разум. Там, где никто не видит готовых изделий, может сохраниться лишь смутное представление о важности самого процесса производства. Вы можете услышать от нашего интеллигента рассуждения о развитии науки, о важности ее достижений, но никогда не спрашивайте — зачем? Ответом будет лишь обидчивое недоумение. Отношение нашего интеллигента к научному процессу в точности то же, что у любого советского труженика: откуда-то спущен план, стало быть, надо его выполнить.

Итак, вычисляющий рационализм оказывается пустым внутри. И эту пустоту неизбежно заполняет какое-то человеческое содержание, потому что некоторые свойства человека упрямы, как его биологическая природа. Главные из этих свойств — страх смерти, страх одиночества и потребность в чуде. Возвращаясь в высохшую оболочку пустой души, они пытаются как-то приспособиться к обстановке. Наука упорно твердит свою назойливую догму, что все мы умрем, значит, надо успокоить страх смерти каким-нибудь способом, не задевающим ее авторитета. Хотелось бы избежать этой неприятности, но в пределах "науки". Можно представить себе, например, кибернетическое бессмертие, когда переписывают на пленку человеческий мозг. Еще интереснее, если бессмертие не надо придумывать, а оно уже — каким-то вполне научным способом — существует. Мне рассказывали недавно об опросе людей, выведенных из клинической смерти: врачи интересовались, что ощущали умершие на том свете или по дороге туда, записывали и наводили статистику. И вот — что бы вы подумали — *статистически доказано*, что почти все они видели нечто вроде длинного коридора, а в дальнем конце его — свет!

Когда нет уже подлинной веры в науку, потребность в чуде может быть удовлетворена вполне научнообразно. Главную роль играет здесь так называемая научная фантастика. Чудо есть нарушение естественного хода вещей. Но

если происходит что-нибудь совсем необычное, хотя бы и допускающее рациональное объяснение, это все равно воспринимается как чудо. Предки наши верили в бесстыдно необъяснимые чудеса; наш современник, привыкший довольствоваться заменителями, получает некоторое объяснимое приближение. Является целая литература, где самые удивительные вещи происходят на космических кораблях, в будущем и в прошлом, или на планетах других звездных систем, поскольку планеты нашей собственной системы уже слишком известны и не вызывают доверия. Излюбленная тема этой литературы — так называемые "пришельцы", жители других миров, прилетающие на Землю и устанавливающие дружеские или враждебные отношения с ее населением. Но этого мало. Сюжеты фантастических произведений, все-таки, выдуманы, а людям хотелось бы, чтобы такие вещи в самом деле были. И вот распространяются сведения, что пришельцы и в самом деле уже прилетали. Это они построили храм в Баальбеке (о котором точно известно, кто и когда его строил), они воздвигали чудесно не ржавеющую колонну в Дели (подземная часть которой, оказывается, все-таки заржавела), наконец, это они изображены на фресках Сахары, где можно увидеть космонавтов с надетыми шлемами (то есть колдунов в ритуальных уборах из выдолбленной тыквы). Кинофильм, изображающий все эти чудеса, пользуется бешеным успехом. Его комментируют — в трогательном содружестве — авторы фантастических сочинений и солидные ученые, а публика, считающая себя интеллигентной, принимает все это всерьез. И потом — летающие тарелки. Тут уже все точно известно: *они* все время летают вокруг Земли и за нами следят, даже высаживались и брали земных обитателей в качестве образцов, но пока это военная тайна. Точно известно, что ими занимаются военные институты и в Америке, и у нас (представьте себе научную любознательность генералов!). Там же, в военных лабораториях, занимаются телепатией и телекинезом, и это тоже — военная тайна. Обвинили же недавно одного инакомыслящего в том, что он выдал секретную работу по телепатии (и в самом деле, обвинили!). Самое замечательное — это отношение к таким вещам профессиональных ученых. Можно было бы подумать, что они

должны отбрасывать такие разговоры с холодным презрением, но давно прошли уже те времена, когда ученый имел какое-то научное мировоззрение или просто уважение к собственному ремеслу. Учреждения, занимающиеся телепатией, легко находят ученых, готовых расхотать таким образом деньги налогоплательщиков, и я читал статью одного американского физика, призывавшего организовать институт для изучения летающих тарелок, американскую НИИТарелку. Надо полагать, он хлопотал о новом институте для себя и своих сотрудников, так как существующие институты с тарелками не справились. Москвичи и провинциалы передают друг другу полусекретные, но вполне достоверные статьи о тарелочной и вообще интересной науке, перепечатывают их на машинке и обсуждают. Мне показывали пластмассовую игрушку под названием "летающая тарелка". Она и в самом деле была похожа на тарелку, а в середине выделено было окошко с силуэтом пришельца, чем-то вроде козы.

Теперь уже нетрудно понять, каким образом наш интеллигент-рационалист обращается к богу. На первый взгляд это кажется невероятным. Но чем больше высыхает рациональная оболочка его души, тем сильнее ощущается пустота внутри. И нет в этой душе никакой прочной основы, ничего унаследованного от воспитателей, ничего выстраданного собственным опытом — одни обрывки из учебников, случайного чтения и болтовни. Чтобы заполнить эту душевную пустоту или просто приспособиться к тону, уже установившемуся в ближайшем окружении, наш интеллигент принимает какую-нибудь достаточно внушительную доктрину, обычно самую распространенную среди его знакомых: чаще всего это православие или какое-нибудь около-православное мудрствование. Совмещение науки с религией для него не трудно: ведь он соединяет всего лишь бесвязные дребезги науки с шелухой угасшей религии. Как мы видели, наука служит ему для отпущения грехов, но вычисление можно заменить умилением, и еще лучше науки успокоит его какой-нибудь нетребовательный поп. Конечно, при этом религия ни в коем случае не должна приниматься всерьез, и такая угроза обычно даже не возникает, поскольку наш герой воспринимает религию лишь в *разго-*

ворном плане. Он слышал, может быть, о более глубоких явлениях веры, но по своей истинно-русской наивности, столь проникательно описанной Бердяевым, полагает, что они бывают только у святых, а на святость наш герой, конечно, не претендует. В самых банальных случаях он даже не подозревает о каких-нибудь религиозных переживаниях, довольствуясь в религии ее приятно-общительной стороной: он освящает куличи, потихоньку от начальства крестит детей и вообще чувствует себя членом русского православного коллектива. Конечно, такая религия не требует от него жертв. И он никогда не допустит, чтобы его материальный базис от всего этого пострадал: религия, политика, науки и искусства должны навсегда остаться в разговорной надстройке. Не верьте ему, если он говорит, что любит своего бога. Он никого не может любить, потому что бог не любит его.

Что еще можно увидеть в нашем интеллигенте? Самая очевидная его черта — это упрямое, непреодолимое стремление ничего не знать. Он может существовать, лишь ничего не зная о себе и окружающем мире, и всякое знание такого рода блокируется его подсознанием. Не случайно он отрезает себе самые средства что-нибудь узнать. Задумывались ли вы, почему у нас никто не знает иностранных языков? Для изучения языков теперь имеются все нужные средства, но наш интеллигент беспомощно возится со словарем, разбирая нужную ему (или ненужную) специальную статью. Обычно он скажет вам, что иностранный язык — очень трудное дело, но мы уже знаем, почему он так говорит. Конечно, он не привык что-нибудь делать без указания начальства, по собственному почину, но я уверен, что здесь работает еще и защитный механизм: свободное знание языка бессознательно ощущается как выход в опасную зону. Он будет жаловаться на недоступность литературы, но он лжет. Запрещены лишь малоинтересные остро-политические сочинения. Вся серьезная литература о человеке и обществе, об экономике, истории и философии легко доходит по почте, лежит нечитанная в библиотеках. Начальство чувствует, что всего этого никто не станет читать. Да и трудно было бы ему разобраться в этом наводнении информации: ренегаты, умевшие читать и понимать прочитанное, уже вымер-

ли, и мы живем, слава богу, в эпоху *безграмотных* стукачей. Наш интеллигент не знает даже объективных условий материальной жизни, в которых он только и заинтересован; точнее, он знает эти условия лишь в ближайшей окрестности своего места, к которому привязан, как пес к своей будке. Если вы спросите его, как живут за границей, то обнаружите подсознательное низкопоклонство и сознательное высокомерие. Очень редко он знает зарплату и рыночные цены за рубежом, хотя иностранное радио все время об этом твердит. Обычно он скажет вам, что они врут; интереснее случай, когда он знает цифры, но не понимает, что они значат. Он умеет подсчитать свою покупательную способность, но не покупательную способность американца, да и вообще заграничная жизнь для него нереальна, как загробный мир. Если вы будете настаивать, он выдаст вам несколько газетных штампов, например, объяснит вам, что у нас бесплатные социальные блага, а в Америке все надо покупать. Если вы все-таки предложите ему сосчитать, он рассердится. Ему *надо* всего этого не знать, чтобы сохранить самоуважение. Ведь он потребитель, он из кожи вон лезет, чтобы купить (вернее — *достать*) разные труднодоступные вещи, и главная радость его жизни — похвалиться этими вещами перед соседями и сослуживцами. Полезно ли ему знать, что за границей его великолепие не произвело бы особенного впечатления. Мне приходит на память рассказ, как могущественный вождь принимал путешественника в джунглях Новой Гвинеи. На ногах его сияли новые кеды, и родовая знать угощалась из консервных банок. Чтобы сохранить самоуважение, наш герой должен как можно меньше знать. А если уж он не может чего-нибудь не знать, то он и знает — и не знает.

В некоторых случаях он воображает, что знает все. Он обрушит на вас статистику и прейскуранты, доллары и центы. Это значит, что он уже приготовился сменить хозяйина — настроился на эмиграцию. Ему и хочется, и колется. Он должен доказать себе, что *там* все хорошо, что там ему будет легко и приятно. Но все-таки ему страшно расстаться с привычной обстановкой, и он рассчитывает на помощь начальства — ожидает пинка.

Впрочем, и потребитель — слишком лестное для него

название. Покупать — вовсе не то же, что потреблять, здесь очевидное злоупотребление словами. Главная функция вещи у современного мещанина — вовсе не потребление, а поддержание престижа. Если он интеллигент, у него должны быть книги. Это должны быть модные и труднодоступные книги: Пастернак, Ахматова, Цветаева и Мандельштам. Потреблять их никто не может, но можно ими владеть. Машина у него не для того, чтобы ездить, а книга — не для того, чтобы читать.

Ему непонятен человек, *непосредственно* счастливый или несчастный. Средства вытеснили у него понимание цели. У женщин это страшнее всего: посмотрите на них, когда они дерутся в очереди из-за какой-нибудь тряпки. Кто из них интеллигентки, по лицам теперь не разберешь, но все уроды.

Такой человек не потребитель, а нечто гораздо худшее. Из вещей он создал себе культ, и это поистине самая жалкая из религий.

Понятие правосудия ему недоступно. Если вы скажете ему, что суд может быть в некоторой степени независим, расскажете ему о присяжных и общественном мнении, он ответит, что вы жертва западной пропаганды. Если *им* надо от кого-нибудь избавиться, — скажет он вам, — то *они* сделают это гораздо лучше наших, с соблюдением всех форм и приличий. Разница лишь в том, что говорится, а суть дела везде та же. Он верит лишь в ту действительность, которую видит вокруг.

Посмотрите, как он слушает иностранное радио. Он не понимает, о чем можно солгать и о чем нельзя. Первая истина, которую он усваивает в своей жизни, состоит в том, что *все всегда врут*. Пока он остается в своем окружении, среди себе подобных, это правило действует безотказно. У него не возникает надобность отделять факты от комментариев, потому что в обычных для него условиях факты легко игнорировать или отрицать. Он не понимает, что у лжецов тоже могут быть конкуренты. У *них* тоже есть хозяева, — объяснит он вам, — и если им надо, они скажут вам, что сегодня тридцать второе декабря.

Старые книги для него все равно, что сказки. В старых книгах описываются люди, каких не бывает, мысли,

которые никто не принимает всерьез, и поступки, не вытекающие из окружающих условий. Все это, конечно, вранье, но так и должно быть, потому что это — литература. Еще в школе, где ему навязывали русских классиков, он понял, что это необходимая часть надувательства, докучливая, когда надо сдавать экзамены, но безобидная, потому что этим никого не обманешь. Нет, он не против литературы, более того, поскольку он интеллигент, он приучился читать. Вы можете видеть его в метро или электричке читающим какой-нибудь детектив, фантастику или советский роман. Во всех случаях ему не приходит в голову, что герои и обстановка должны быть чем-то похожи на окружающую жизнь, на него или его знакомых. Это было бы просто неприлично. Впрочем, в последнее время для него стряпают подделки с прибавлением фрагментов действительности, полуправду хуже прямой лжи. Он охотно верит, что это правда, потому что эта правда для него безопасна. Он может капризничать по поводу масла или колбасы, но духовные его потребности вполне удовлетворяют Трифонов и Шукшин.

Русский интеллигент мог заблуждаться, потому что искал. Советский интеллигент никогда не заблудится, потому что не ищет. Русский интеллигент часто был несамостоятелен, он следовал популярному мнению, и мнение это приводило его на каторгу и эшафот. Советский интеллигент тоже несамостоятелен, он тоже следует общему мнению, но общее мнение теперь состоит в том, что надо избегать неприятностей с соседями и с начальством.

Русский интеллигент устроил три революции и затопил Россию морями крови. Советский интеллигент смотрит на него с чувством превосходства и нравственного осуждения.

ИНАКОМЫСЛИЕ

Наряду с "массовым" типом советского интеллигента, есть еще особая разновидность его, на первый взгляд имеющая с ним мало общего. Это "инакомыслящий" интеллигент или, в терминологии иностранной печати, "совет-

ский диссидент”. Слово это английское и означает сектантов, отколовшихся от официальной государственной церкви и заявляющих самостоятельные религиозные мнения в границах христианской веры. Таким образом, диссидентами никогда не называли прямых атеистов. Термин этот, в его английской версии, кажется мне удачным, потому что *советские* диссиденты — это люди, вовсе не отвергающие начисто советское мировоззрение и советский образ жизни, а добивающиеся некоторых улучшений в том и другом, и притом, по возможности, без нарушения советских законов. Вопреки распространенному мнению, сюда безусловно относятся и внеаппаратные русские шовинисты, идолом которых является А.И. Солженицын; но к диссидентам не относятся просто верующие, не ищущие компромисса с советской властью, а желающие от нее укрыться до времени, когда бог ее покарает.

Гораздо менее удачен термин ”инакомыслящие”, потому что в нем заложена презумпция *мышления*: правильнее было бы называть этих людей ”инакочувствующими”, но это уже совсем не по-русски.

”Инакомыслящие” отличаются от ”массового” типа советского интеллигента своими чувствами и поведением, но близки к нему своим образом мыслей. Можно определить ”инакомыслящего” как человека, получившего от культурной традиции сильное чувство справедливости и приличия, но не получившего навыков самостоятельного мышления. Чувства толкают его против несправедливой власти, а мысли поработают его этой власти. Такой человек выше окружающей среды, потому что способен приносить жертвы, но жертвы его случайны и, большею частью, напрасны. ”Массовый” интеллигент жалок и смешон, но ”инакомыслящий” — трагичен, потому что принимает некоторые вещи всерьез и доказывает это своим поведением. Я попытаюсь изложить взгляды некоторых лучших представителей этой среды. Пусть они простят мне, если это изложение покажется им насмешкой. Юмор возникает здесь не от моей воли, а от беспорядка в описываемом мышлении.

Доминирующая установка этого мышления — зави-

симость от начальства; поведение же реактивно по отношению к действиям власти.

**Инакомыслие,
или философия, психология и этика недовольного
советского интеллигента**

1. *Они* всеведущи и всемогущи. Отдельный представитель власти может быть слаб и жалок, но весь аппарат в целом — страшен и непобедим. *Мы* смотрим на него, как кролик смотрит в глаза анаконды. Начиная что-нибудь делать, мы знаем, что ничего не можем.

2. Мы говорим, что верим в духовную силу человека, но не верим, что она имеет практическое значение. В реальной жизни имеет значение лишь соотношение физических сил. Выступая за изменение жизни в этой стране, мы знаем, что ничего изменить нельзя.

3. Поскольку мы не можем уверовать в бога, у нас нет надежды, что бог заметит наши жертвы и сотворит чудо, и нет надежды на загробное воздаяние. И все же, мы должны принести эти жертвы из чувства собственного достоинства. Может быть, со временем наш пример увлечет большее число людей и люди станут лучше. Но в это мы, собственно, тоже не верим, потому что это было бы чудо.

4. Таким образом, мы делаем все это, чтобы облегчить нашу совесть и выразить публично наши чувства.

5. Мы верим в человеческие чувства, но не верим в человеческий разум. Никакое учение мы не принимаем всерьез. Все идеологии прошлого оказались ложными и привели к чудовищным бедствиям и преступлениям. Значит, так будет и дальше. Незачем заниматься каким-то общественным мышлением. Когда речь идет о человеке и обществе, нельзя говорить, что одна мысль правильна, а другая нет. У каждого свои мысли, и одна не лучше другой. Надо лишь поступать, как тебе подсказывает чувство.

6. Чувства подсказывают нам, что надо *протестовать*. Если мы не протестуем, то оказываемся соучастниками творимого зла. Таким образом, мы говорим о личной ответственности, но принимаем библейский племенной принцип. Мы виновны в оккупации Чехословакии и даже, по-види-

мому, в ужасах революции и террора. Мы несем в себе не гордое чувство праведности, а смиренное чувство вины.

7. Самое главное в жизни — не бояться. Мы не протестуем, потому что боимся. Единственный способ доказать себе, что ты не боишься — это протестовать. Тогда и другие увидят, что ты не боишься, и будут тебя уважать. Если кто-нибудь говорит, что протестовать бессмысленно, это значит, что он просто боится. Но мы ему так не скажем, это было бы высокомерием. Мы скажем, что у каждого свой путь.

8. Заслуги человека измеряются тем, какое он принял страдание. Мы заимствовали эту доктрину у христиан, как и многое другое. Мы никогда не задумывались, насколько нам подходят понятия чужой веры. Чувства подсказывают нам, что быть мучеником — хорошо. Это значит переложить вину на твоих мучителей, а самому уже ни за что не отвечать. Впрочем, даже мучителей надо жалеть и прощать. Ведь мы не можем платить им злом за зло? Они тоже люди, но у них другие взгляды.

9. Поскольку наши страдания зависят от *них*, то *они* и определяют наши заслуги. Достоинство человека определяется тем, сколько *они* дали ему лет. Это вроде ордена или почетного звания. Ты мало стоишь, если начальство тебя не замечает: значит, ты не высываешься, потому что боишься. Но мы тебе так не скажем, это было бы высокомерием. Мы скажем тебе, что каждый решает за себя.

10. История инакомыслия состоит в том, что А протестовал против чего-то и его посадили; Б протестовал против посадки А, и его тоже посадили; В протестовал, и т.д., ...; начали издавать хронику нарушений советской законности, где было сказано, что А, Б, В, ... неправильно посадили; издателей хроники, в свою очередь, посадили, и т.д.

Таким образом, *мы* им не делаем ничего плохого, а *они* причиняют нам зло. Весь мир видит, что *мы* — хорошие, а *они* — плохие.

11. Кое-кто говорит, что они — наши враги, что с ними надо бороться: не бояться причинять им зло, не облегчать им их грязное дело и вообще считать себя в состоянии войны с существующей властью. Не слушайте этих людей, их надо остерегаться. Такая линия прямо ведет к большевизму. На

войне убивают противника, но ведь мы не станем от них прятаться? Если кто-нибудь из наших выступает под псевдонимом, *они* глумятся. И Исаич тоже глумится. Поэтому протестовать надо с указанием всех данных: фамилии, имени, отчества, подробного адреса, а по возможности и телефона. Как только ты им понадобишься, они тебе могут позвонить. *Мы* всегда вежливы и любезны.

12. Опаснее всего — ставить себе цели. Поскольку любое учение о человеческих делах заведомо ложно, человек, предлагающий вам какую-нибудь цель или спрашивающий, какие у вас цели, — это и есть носитель самого страшного зла. Ибо цели, как известно, оправдывают любые средства. Из целей вырастает доктрина, а доктрина имеет приверженцев и врагов, которые неизбежно организуются друг против друга. Где возникает организация, там начинаются интриги и борьба за власть, так что очень скоро сторонники этой доктрины начинают друг друга истреблять. Единственное, что *можно* делать вместе, — это вместе протестовать и вместе сидеть. Предварительные шаги на этом пути можно даже чуточку прикрыть от начальства, но при обязательном условии завершить дело общим протестом и посадкой.

13. Мы уважаем советские законы. Некоторые думают, что это лишь тактический прием, чтобы лучше разоблачать начальство. Но мы не признаем никакого притворства. Мы в самом деле уважаем закон, по которому судят и убивают наших друзей. Дело в том, что у человека ведь должен быть *какой-нибудь* закон, иначе он впадает в самоволие, как об этом предупреждал Достоевский. В собственные нравственные силы мы не верим, нам нужен настоящий закон, записанный параграфами и статьями. Тогда будет точно известно, что можно делать и чего нельзя: а иначе получается самоволие. И раз уж другого закона у нас нет, то мы уважаем советский. Впрочем, он не так уж плох, этот советский закон, в нем есть статьи против воровства и убийства и вообще много такого, как во всех кодексах мира. Закон в основном хороший, беда только в том, что его не соблюдают. Правда, есть там и плохие статьи, по которым нас сажают, но они противоречат конституции. Если же кто-нибудь станет говорить, что законы противоречат друг другу, и что их вообще невозможно применять, мы скажем ему,

что это тоже правда. И поэтому надо протестовать.

14. Прошлое нашей страны вызывает у нас ужас, и особенно ужасны большевики. Все, что мы видим кругом, — это прямой результат большевизма, и наши нынешние хозяева тоже большевики, или очень на них похожи. Большевики делали ужасные вещи, и мы не будем им подражать. Они верили в возможность сознательного изменения общественной жизни, а мы *ни в какие* изменения не верим. Мы протестуем вовсе не потому, что надеемся что-то изменить! Целей и планов у нас нет, потому что от них недалеко уже и до *программы*. Большевики придумали также конспирацию и организацию. Мы все делаем наоборот: мы не прячемся и ничего не пытаемся организовать. Нет, мы не похожи на большевиков: это *они* похожи, а не мы!

15. Наши протесты должна слышать мировая общественность. Правда, мы не очень знаем, что это такое, не различаем на Западе левых и правых, жуликов и энтузиастов. Но все равно, надо проводить пресс-конференции. Весь мир должен знать, что *они* с нами делают. Может быть, им станет стыдно или они устроятся. Были ведь случаи, когда на Западе поднимался шум и *они* кого-нибудь выпускали. *Они* боятся всякого шума, и, хотя это стыдно признать, мы пользуемся некоторой защитой, пока о нас шумят. В этом есть, конечно, что-то недостойное. Особенно стыдно перед теми, кого сажают втихомолку.

Каждый из нас должен протестовать изо всех сил. А если сил уже не хватает или *они* совсем уже не дают тебе протестовать, можно подумать об эмиграции. Каждый решает за себя. А там, на Западе, можно опять протестовать в эмигрантской печати. Главное, надо *протестовать!*

Вы ведь не думаете, что можно делать что-нибудь другое?

“МАРКСИСТОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ...”

Статья Вадима Кожина в журнале “Наш современник” (№ 11, 1981) вызвала полемическую бурю не только в советской, но и в эмигрантской прессе. М. Агурский увидел в ней проявление агрессивного экспансионистского национализма (“Посев”, № 6, 1982). А соавторы Ю. Слатин и Н. Попов – акт пробуждения национального самосознания (“Посев”, № 3, 1982). Отметив попутно глубину междоумственного разногласия, поведем читателя прямо к статье.

Значительная часть этого обширного документа, уснащенного цитатами из Нестора, Чаадаева, Гегеля, Достоевского, Ленина, посвящена Западу. «Для Запада, – пишет Кожин, – существует только один полноценный “субъект” – он сам; *весь* остальной мир был только “объектом” его деятельности. Как говорил одновременно с Гегелем Чаадаев, “Европа как бы охватила собой весь земной шар, все остальные человеческие племена... существуют как бы с ее соизволения”. Эта мировая ситуация западной культуры чревата последствиями, которые произошли в наше время, с жестокой ясностью предстали перед самим Западом...» (162).

Если бы только перед Западом, вздохнет, наверное, читатель, уловив в кожиновских речах плохо скрываемый намек на хорошо известные любому из нас последствия: военно-индустриальный комплекс, братская помощь во всех ее видах, ядерный психоз, нищета, озверение в очередях, падение рождаемости в метрополии и демографический бум на периферии...

Увы, Кожинов мало интересуется тем, что происходит у него под носом. Его геополитический компас работает в одном направлении:

«Да, западный человек в самом деле осознавал себя по отношению к "внешнему миру" — и природному, и человеческому — в качестве "человекобога". Это было совершенно необходимой основой западной героики, западного свободного творчества. Но одновременно это означало, что Византия и государство ацтеков, Индия и Китай, и, конечно, Россия — только *объект* приложения сил Запада и не имеет никакого всемирно-исторического значения» (163).

Забыл, что и говорить, Кожинов всемирно-историческое значение Октября, забыл Эфиопию и Афганистан, слыхом не слыхивал про "человекобогов", замышляющих повернуть вспять сибирские реки, про "экологический тупик" Солженицына, про "Разрушение природы" Комарова.

Советская земля не только за пределами его диатриб, но именно она и противостоит тому комплексу идей и территорий, которому Кожинов дает определение "иудеохристианской" цивилизации.

Итак, дующим с Запада злобным ветрам противостоит, как скала, русский онтологический феномен. Русский народ, по мнению Кожинова, во всем отличается от надменных западных. Его характеризует "избыточное самосознание", "совестливость", "самокритицизм", "самобичевание", то есть беспощадное отношение к себе и своим слабостям. И как следствие этих редких качеств — органическая неспособность к какой бы то ни было этнической замкнутости, к эгоизму, к чванству. "Подлинное превосходство русских и состоит, если уж на то пошло, в способности подлинного братства с любым народом, которая в свою очередь опирается на способность... из глубины духа признать определенное превосходство другого народа" (172).

Унижение паче гордости, но не беспокойтесь на Кожинова. Его национальный мазохизм не идет дальше известной черты. Из конкретных примеров ясно, что превосходство признается в основном за теми народами, которые входят в состав СССР. Оно и понятно, спесивый Запад завоевывал пространства, чтобы приобщить варваров к цивилизации, — Россия шла на Восток, чтобы *поучиться у азиатов*, чтобы

признать их "определенное превосходство" и заключить в братские объятия.

Учиться у Запада России было решительно нечему. Разница их потенциалов, гуманитарных и нравственных, всегда была в пользу нашей страны. Из списка ее духовных приоритетов выделим самый главный. Оказывается, не христианство питало русскую культуру, но русская культура питала христианство, сообщая ему "всечеловеческое, всемирное" содержание.

Здесь возникает щекотливый вопрос: а как же быть с марксизмом? Уж он-то безусловно родился на Западе, в недрах "иудеохристианского" сознания от его вечной и греховной неудовлетворенности сегодняшним днем и эсхатологической тяги к искуплению, к "светлому будущему". Доктрина перманентного лидерства России позволяет, в сущности, два ответа: 1. Родился-то родился, но только на русской почве марксизм и смог стать государственной религией; 2. Охотно уступаем Западу патент, марксизм как раз и является примером дурного, губительного влияния.

Какой же из двух ответов прельщает Кожинова? Заметим, что критика гегелевской историографии у него целиком относится к Марксу, приносившему, как известно, "все эти бессильные, расслабленные, мелкие народишки" в жертву цивилизации, революции, прогрессу. И, стало быть, статья рикшетом бьет по марксизму? Так-то оно так, да не спешите с выводами. Кожинов высоко чтит отдельных марксистов. И "завещание Ленина" он вплотную подгоняет к "завещанию Достоевского". С цитатами в руках Кожинов доказывает идентичность их взглядов на будущее России и ее освободительную миссию.

Некоторые эмигрантские толкователи толкователя священных русских текстов объявляют апофеоз Ильичу ритуальной, декоративно-цензурной заставкой. Но мы не станем довольствоваться столь механическим решением проблемы. Ибо логика кожиновского демарша подсказывает более элегантный и убедительный выход из положения. С марксизмом, вероятно, произошло то же самое, что и с христианством. Не он питал русскую идею, но русская идея, подобно фильтру, очистила марксизм от "иудеохристианских" токсинов и вдохнула в него освободительное, ленин-

ское содержание. Что и позволило Советскому Союзу водрузить над землею знамя борьбы с империализмом, выступить против альянса лавочников, либералов, буржуев и успешно отразить "всемирную космополитическую агрессию". Впрочем, тут мы попадаем, как говорится, не в ту степь, а в степь евразийскую. Ведь цитируемое выражение подразумевает войско Мамая, собранное на деньги генуэзских купцов и банкиров...

А у нас еще не подытожен компаративный анализ двух антиподов. Итак, если Запад «вырос на "сгнивших развалинах" (Гегель) поверженного древнего мира» (162), то Россия отпочковалась от живого древа византийской цивилизации. Если Запад разбивается на *индивиды* и *нации*, то Россию формируют *личности* и *народ*. У них – *национализм*, у нас – *народность*. Они – *рабы* законности, мы – *сыновья* благодати. Как и все авторитаристы, Кожин различает *внутреннюю* свободу (воля, благодать) и *внешнюю* (законность). "Самая полная свобода, – убеждает Кожин, – ничего не дает воле личности, которая устремлена к бытию и смыслу, лежащим за *пределами* этой свободы" (169).

Какие же цели лежат за пределами лиц и наций, пребывающих в плену демократии и права? На это Кожин отвечает словами Достоевского, что "лишь одному только русскому духу дана всемирность, дано назначение в будущем постигнуть и объединить все многообразие национальностей и снять все противоречия их" (157).

Переведем дыхание и протрем глаза, чтобы лучше видеть аргументы литературоведа Кожина. Его научный аппарат необъятен. Митрополита Илариона сменяют на идеологической вахте Гегель и Бахтин. Особенно упорно ссылается Кожин на теорию Михаила Бахтина о монологическом и диалогическом видах искусства. Согласно Кожину, монологическая культура (= *Мели, Емеля!*..) – это западная, а диалогическая – (нетрудно догадаться) русская. Бахтин должен был бы неоднократно перевернуться в гробу, прослышав о применении своих теорий в расовом аспекте. Несколько дополнительных оборотов вызвали бы и неустанные усилия Кожина протащить все написанное Достоевским в бахтинскую "эстетику диалога". Сам философ пре-

дупреждал, что публицистика великого писателя, в отличие от его художественного творчества, принадлежит нормативной, монологической области, и последняя цитата была бы наглядной тому иллюстрацией.

Но Кожинов вольно обращается с теориями и цитатами, и их эффект редко соотнобразуется с его толкованиями.

Вот он приводит высказывания западных писателей о прогрессе, несущем гибель природе и самобытным цивилизациям. О чем говорят эти цитаты? Разве не о *самокритицизме*, не о *самосуде*, не о *самобичевании*, свойственным якобы одним русским?

Просим прощения за банальность, но осознание своей греховности, изнурительное чувство вины перед ближним и дальним и служит мотором "иудеохристианской" культуры, в которой почетное место занимает русская. Нам, живущим на Западе, не привыкать к трагическим голосам Дюмона, Зиглера, Ильича (не того, который..., а мексиканского ученого) и прочих многочисленных оракулов, внушающих жителям свободных стран их персональную ответственность за ограбление третьего мира и за дикую вестернизацию его. Солженицын даже считает, что все эти покаянные речи переходят всякую меру и разжижают, лишают необходимой крепости национальное самосознание западных народов.

И с ним едва ли стоит соглашаться. Раскаяние не будет избыточным, пока Запад не усвоил, что пауперизация и ломка традиционных устоев третьего мира делает последний легкой добычей коммунизма. Нет для раскаяния и моральных противопоказаний. И мы с волнением слушаем Солженицына, когда он берет на себя вину за истребление сибирских народов, за насильственную русификацию других. Не коробит нас и исповедь "антисемитов" Суконика, Хейфеца, Горенштейна, отражающих "еврейский вклад" в революцию и строительство социализма в одной великой стране.

Они-то и есть наследники могучей русской культуры, они-то и стоят обими ногами на русской и одновременно "иудеохристианской" нравственной почве. А вот Кожинов, сладострастно изучающий свой пуп, который играет в его космогонии роль центра земли, не имеет к этим традициям прямого отношения. При всей своей эрудиции и всеядности

Кожинов не может нас убедить, что его духовная гносеология простирается дальше "Марша энтузиастов" или песни "Широка страна моя родная..."

Чем уникальна и симптоматична статья, так это тем, что впервые, кажется, в советской публицистике была с такой безоглядностью и беззастенчивостью отброшена всякая классовая и коммунистическая риторика и подменена голым национальным аргументом. Слатин, Попов и примкнувшие к ним Назаров и Бонафедде из "Посева" предлагают радоваться подобному обстоятельству и кидать в воздух головные уборы.

Но так ли уж очевиден бунт Кожинова? Маркса, вероятно, он и вправду недолюбливает, зато Ленина он безусловно обожает. И потом, не надо принимать цензоров, курирующих "Наш современник", за абсолютных олухов. Они знают, что пропускают. Просто установка у них нынче иная: "Марксистом можешь ты не быть, антисемитом быть обязан!"

А уж этого добра у Кожинова хоть отбавляй. Антисемитизм служит центром его философской системы. Он у него всех видов и сортов.

Имеется антисемитизм обкомовский, жэковский: "Сионизм — крайняя форма национализма" (в отличие, надо думать, от кожиновского, бескрайнего). Или это тоже декоративно-цензурная пошлина, господа из журнала, сеющего разумное, доброе, вечное?

Имеется антисемитизм маниакально-планетарный, которому всюду чудятся сети заговора и происки сионских мудрецов. В его представлении сионизм выступает сторожевым псом мирового империализма, за исключением тех случаев, когда мировой империализм выступает сторожевым псом сионизма. Наиболее свирепые и коварные сионисты получают в награду нобелевскую премию: например, Сол Беллоу (см. статью Кожинова об американской литературе в 11-м номере журнала "Москва" за 1982 год)...

Имеется антисемитизм научный, так сказать диалектический антисемитизм. Согласно ему, Ветхий Завет (читай, сионизм) есть религия заскорузлая, узконациональная, а Новый — универсальная, общечеловеческая (но только, разумеется, в его русском варианте).

К доказательству этой теоремы Кожинов привлекает митрополита Илариона, жившего в XI веке.

Иларион же развивает кожиновскую мысль с помощью семи библейских цитат, в которых по разному поводу упомянуты "все языци", то есть все народы земли. Но едва древний начетчик успевает зачитать свои семь цитат, как диалогист Кожинов отбирает у него микрофон и уличает в вопиющей неточности. Оказывается, все цитаты взяты Иларионом из Ветхого Завета. «Ни одной цитаты, имеющей в виду "все языки", в Новом Завете Иларион найти не мог» (159). Вывод: митрополит приписывает Евангелию то, чего у него нет. А что же он тогда ему приписывает? Он приписывает ему русскую идею.

Странно все ж таки, странно. Ну хорошо, Иларион — темный старец и к тому же у времени в плену. Но Кожинов-то, Кожинов мог бы отыскать в теории и практике мирового христианства хоть какой-нибудь завалящий интернациональный пример. Скажем, заграничные поездки папы Иоанна-Павла II, лингвистическую экспедицию монахов Кирилла и Мефодия, на худой конец — крылатое выражение известного апостола, что несть, видите ли, для него ни эллина, ни иудея.

Но казус даже и не в том. Ладно, допустим, что Иларион поступил опрометчиво, доказуя интернациональность христианства выдержками из одного Ветхого Завета. Только почему же из этого обязательно следует, что он приписал Евангелию свойства своей загадочной души? Разве не естественнее предположить, что он приписал ему свойства цитируемого источника, то есть Ветхого Завета?

И действительно, для Илариона, как и для всякого христианина, нет прерывности между обоими Заветами. Они образуют нерасторжимое целое. А универсальная программа начинается уже с призвания Авраама: "И благословятся в тебе все племена земные!" (Быт. 12, 3). Бог Моисея, Авраама и Якова, или "Царь всей земли" (Песн. 46, 8). *избрал* народ Израиля, чтобы сделать его орудием своей любви ко всем народам мира. Удачен этот выбор или нет, — он принадлежит Тому, кто послал к людям своего Сына как новое свидетельство любви. И нелепо ставить в пример жестоководному, карающему Богу иудеев милосердного, всепро-

щающего Отца христиан. К Кожину это упрек не относится: милосердие и не ночевало в его планетарии. Зато просветителям-неофитам стыдно не понимать таких вещей и потчевать своих овец прокисшим пойлом исторического антисемитизма, давно уже вышедшего из употребления в цивилизованных странах...

Следующая ударная мысль Кожина: Ветхий Завет — религия рабского послушания законам, Новый — религия благодати. Если бы критик не путал Ветхий Завет с сионизмом, а от Нового не отлучал бы христиан-инородцев, мы бы затеяли с ним академический спор. Но Кожину, судя по всему, наплевать на Ветхий и на Новый Завет, вместе взятые. Ему важно дать понять, что общество, основанное на праве, уступает во всех отношениях обществу, основанному на том, что он принимает за благодать. Уровень аргументации здесь примерно таков. Поскольку я, Кожин, ем свинину, во мне больше благодати, чем в тех, кто рабски подчиняется закону, свинину — ни-ни. И правовое общество — богомерзкое общество.

Обрадуемся за Кожина. Он имеет тот режим, которого он заслуживает. Но разве заслуживает похвалы режим, который и похвалить-то нельзя прямо и открыто, когда он этого заслуживает? Вот и приходится жонглировать эзотерическими предметами и отплясывать холуйских гопаков на священных скрижалях.

А теперь возьмем в руки... нет, даже не ВЗ (иудеи делят его с христианами, и пойдешь разберись с Кожинным, кто кого питает), а кое-что похлеще: Талмуд, бр-р-р!, сборник жидовской законности! Откроем его наугад. Вот притча о том, как раввин отругал человека, протянувшего на улице милостыню бедняку. В чем же провинился наш благодетель? А в том, что учинил подаяние на людях, и тем самым унижил бедняка. Унизить, оскорбить ближнего принародно равносильно убийству, и даже хуже того.

Да будет известно Кожину, что самую страшную кару Талмуд усматривает в самонаказании, когда человек теряет меру добра и зла неоднократным повторением одного и того же греха, например, передергивания, ненависти, лжи. А высшая награда лежит в самой возможности отличать до-

бро от зла. Нет, что ни говорите, а далек Талмуд от "Устава караульной службы"!

Талмуд гибок, динамичен, диалектичен, диалогичен и наряду с Библией, Кораном и буддистской премудростью входит в сокровищницу человеческой этики. И ни одна религия не имеет нравственной или расовой монополии. Все они учат милосердию и терпимости. Другое дело, что их adeptам случается отклониться от предписаний...

"Национализм превратился в одну из главных ставок империалистических спецслужб в их подрывной деятельности против реального социализма", — эту лебединую речь Сулова Слатин и Попов прямо навешивают на выступление Кожинова. Они поздравляют себя с тем, что национализм официально признан врагом номер один режима. Беда лишь в том, что Кожинов не признает себя националистом. Националисты для него — все те, кто противится русской экуменистической миссии. К ним-то и следует отнести изящную оценку покойного Идеолога. А спорадические окрики в адрес Кожинова со товарищи продиктованы прежде всего необходимостью сохранить равновесие между ортодоксальным и российским "национально-патриотическим" секторами. Ликуйте, сменовеховцы, и ждите своей звезды! Национал-большевизм еще не вскарабкался на вершину власти, но он легализировал свою ситуацию и уравнился в правах с догматическим коммунизмом. Формула Ярузельского еще не стоит на повестке дня, но она уже входит в "неприкосновенный запас" Идеологии.

С защитниками Кожинова в эмиграции нас объединяет общее убеждение, а именно: путать советский империализм с русским и выводить Третий Интернационал из Третьего Рима — затея русофобская, расистская. Но похоже, что русофобской она выглядит лишь тогда, когда употребляется с отрицательным знаком, с положительным — она свидетельствует о пробуждении национального самосознания.

М. Назаров осуждает Агурского за то, что он делит националистов на хороших и плохих ("Посев", № 12, 1982). Но как же валить их в одну кучу? Прав Агурский. Есть национализм мирный и агрессивный. Ошибается он только, на наш взгляд, утверждая, что между теми и другими идет

смертельный поединок. Слишком неравные силы для столь серьезной квалификации их отношений. На стороне одних — аппарат и генералитет, на стороне других — чаянья и отчаянье.

Но в главном мы с ним согласны. Есть национализм и национализм. Либеральный, учительский — Лихачева. Скорбный и трезвый — Распутина. И Лихачев, и Распутин, и Солженицын хотят, чтоб Россия вернулась в свои географические и духовные границы и залечивала в тишине и мире тяжкие увечья и раны.

И есть высоковольтный, иступленный национализм Кожина. Его ретроспективный этап: самобичевание, "самоожжение" и воскресение через искусственно вызванную смерть. А его текущие задачи — объединять и вести за собой человечество.

Солженицын, тот предлагает выкинуть дубинку международного жандарма и выпустить из Союза все нерусские народы, которые чувствуют себя в нем, как в плену. А тем, кто надумает остаться, он советует строить кирхи, мечети, пагоды, синагоги, замыкаться в патриархальном укладе, коснеть в традиционных устоях.

Для него национальные обычаи есть высокая дамба на пути тоталитарного слияния наций. Кстати, уж не идеями ли Кожина вдохновлялся Андропов, реабилитируя ленинский тезис о "слиянии наций", взамен бескостного брежневского "сближения"?

Кожин обещает народам нашей многострадальной страны братские объятия удава, гарантирующие стопроцентное слияние. Его статья озаглавлена: "И назовет меня всяк сущий в ней язык..." Как назовет, мы не знаем, но вряд ли — "добрым, тихим словом".

Ф. Розинер

ПОСМЕРТНАЯ ХРОНИКА

(Послесловие к мемуарам)

1.

Жила она с интересом, с удовольствием, с любовью. Поразительно было то, что ни на чем, казалось бы, не основанную веру в непрестанное торжество разума, справедливости, добра и красоты она несла без тени сомнения сквозь все свои без малого семь десятилетий. Когда она приходила в восторг от чего-то рассказанного или прочитанного, когда она от шутки или анекдота до беззвучия остановившегося дыхания смеялась, охая потом и вытирая платочком слезы — это ее поведение напоминало что-то ушедшее давным-давно и существовавшее, может быть, лишь в русских романах: возникал перед глазами образ доброй и простодушной, милой и наивной девушки-гимназистки, которую так легко обмануть розыгрышем и так же легко глубоко и грубо обидеть; или гувернантки, взятой из хорошего бедного семейства; или курсистки-народницы; или сельской учительницы. Она и вправду начинала свою жизнь воспитательницей детдома в годы разора и голодухи времен гражданской войны; была потом и студенткой, училась живописи, стала искусствоведом; по заводам Москвы, выполняя идею Максима Горького, записывала для истории рассказы рабочих о старом режиме и о том, как царя прогоняли; работала всю жизнь в музеях — и в нынешнем Пушкинском (прежде — Изящных искусств), и в Третьяковке, и в Историческом — реставрировала то западную и отечественную живопись, то древнерусские иконы. В Яро-

славле, Загорске и Переславле-Залесском в церквах раскрывала фрески, чистила иконостасы, укрепляла, обновляла, вызывала к бытию из глена и праха то, чему уж и места на нашей земле не оставалось...

Обо всем этом написала она талантливо и наивно, а потому — хорошо написала в "Былях и небылицах", которые лежат теперь в рукописном отделе Государственной библиотеки, сохраняя во времени ее имя. О жизни своей она сама написала. Мне осталось написать о ее смерти.

II

Но, я думаю, — что писать о самой-то смерти? Нечего. Потому что миг ее никому неведом, даже — кто знает? — и умирающему, наверно. Только был я около нее за двое суток до кончины и явственно видел, как смерть стояла уже между мною, во всю живым пока что, и ею — уже глубиной своего существа стоявшей там, за гранью. Не было уже в ней, в самом дыхании и движении ее, ничего от той жизненной непринужденности, какая была так свойственна ей и какая, на самом деле, и есть главное свойство всего живого, когда любая мелочь жизни — перемещение взгляда, шевеление губ, слабый жест, смена голоса — все производится само собой, изнутри, тем горящим в организме реактором, что рождает жизненные силы. Не было уже этого всего: стоявшие неподвижно глаза обратились ко мне медленным поворотом, направляемые специальным усилием воли; и подобье улыбки сделала она, заставляя нужные мышцы на лице сдвинуть в стороны края иссушенного рта; полупшепотом-полупаузами нанизала слог за слогом, и для каждого вобрала и вытолкнула особую толику воздуха. Когда же я посадил ее на постели — точнее, на разложенном комбинированном кресле, прислонил спиною к торцу стоявшего в головах книжного шкафа, и она попила из тяжелой керамической кружки чаю, то сил у нее ушло на это бог знает сколько. Стало мне страшно, что вот тут-то, сейчас, при мне и погасится ее свечечка... За час до того сыну надо было уйти на работу; внук четырнадцатилетний чуть позже, взяв велосипед, тоже ушел; теперь и мне бы пора покинуть ее: вскоре ждали меня в одном очень важном

учреждении, а еще, к вечеру, собирался я поспеть на другое мероприятие, тоже очень важное... По счастью моему, попросила она уложить ее, повернуть на бок к стене, чтобы удобно ей было уснуть. Из последней капли ее истомившего сознания донеслось до меня далекое, как через две рамы вагона отошедшего от перрона поезда: "...па...и...бо...то...ве...та...ния".

III

Было это третьего апреля. А пятого, к вечеру, позвонил ее сын: умерла. Когда же? — Час назад. — Тяжело ей было, мучилась? — Нет, не мучилась. В последний день, правда, боли появились, она постанывала, потом потеряла сознание... и вот... так и умерла. — Угасла. — Да... — Вот... Верно говорят, святым... (я поправился) — добрым людям... (хотел сказать: "Бог посылает") смерть посылается легкая... Да, говорят так...

IV

Умерла в пятницу вечером, а на воскресенье утром уже были назначены похороны. Мы удивились: ну и быстрота! За один день, да к тому же нерабочий, все оформлено, все заказано, место на кладбище подготовлено! Значит, в противоположность всему остальному, наш сервис в том, что касается смерти, действует великолепно!.. Но тогда мы не знали еще, как он работает, это сервис...

Накануне воскресного дня испортилась погода. До того недели две было солнечно, днем доходило до пятнадцати — сухая, ясная, без бурного таяния весна, казалось, установилась надолго. Но вот барометр заспешил вниз, небо затянуло рыхлой серостью, временами стало моросить, подул ветер — холодный, пронизывающий. От этой, верно, резкой перемены, а еще от того, что будильник с вечера неаккуратно поставили, и он разбудил слишком рано, в воскресенье вставали с головной болью. Поспешно поели, оделись во что-то незначачее по цвету (положенной черной одежды не нашлось), заехали на рынок за цветами. Т. взяла нарциссы, мне приглянулись какие-

то грустные, коротконогие букетики плохо знакомых нам лесных весенних цветов — не то розовато-синих, не то сиренево-фиолетовых с желтой серединкой. Пустые автобусы быстро доезжали до места, и оказалось, что до назначенных одиннадцати оставалось еще около часу.

Решили постоять в соседнем подъезде, подождать ребят — Ю. и С. — и подняться наверх всем вместе.

Промерзшие, мы отогревались постепенно. Стояли там минут пятнадцать-двадцать. Дверь подъезда была в передней стенке эдакого бетонного кубика, приставленного к плоскому фасаду здания; в боковых же стенках кубика имелись окошки, сквозь них просматривались такие же кубики с окнами, то есть соседние подъезды. Мы видели, что в ее подъезде тоже стояли люди — несколько старушек совсем не местного вида, а, пожалуй, "арбатского": береты, старомодные гребешки в седине и не истребленная временем печать культуры на лицах. Старушки держали букеты, перекладывали их из руки в руку, топтались вокруг друг друга, затем разом скрылись — прошли к лифту.

V

Мы, меж тем, говорили о сыне. Хороший ли у нее сын? Мы его почти не знали. Вроде бы, ничего парень, говорил я, но что я в нем почувствовал — это его неприверженность всему, чем жила его мать и что нас с нею свело в эти последние годы: он, похоже, вовсе был чужд искусству. И дело не в том, что не знал он чего-то, что так хорошо знала она и что хотели знать мы; он, почувствовалось мне, находился вне круга радостей, страданий и раздумий, связанных не столько, может быть, с какими-то определенными произведениями живописи, литературы и тому подобного, а, скорее, связанных с *судьбой* искусства вообще. Мы почему-то оказались больны от того, что искусству сейчас, в эти современные нам дни — больно и плохо, и от этого нам тяжело, как если бы переживалась нами судьба любимого человека. Эти церкви разрушенные, которые она восстанавливала, и эти иконы, которыми мы вместе с нею занимались в ее комнатухе — ну отчего дались нам они? Странные наши собрания за расчисткой икон были, по-ви-

димому, верным служением чему-то печальному, отошедшему, невозвратному. Здесь, у нее на квартире, был островок, на котором курился жертвенный дым во славу "духа", "красоты", "возвышенного", тогда как пошлость, мелкая суэта, гнусность и ложь стучали в сами стены и дверь утлой ее комнатенки на последнем этаже новехонького дома. За дверью, судя по всему, никто этого не понимал. Владычила в доме жена дорогого сына — резкая, хваткая женщина, достойная дочь смоленского полковника КГБ, который, вроде бы, до конца своих дней гордился, что во время оно посадил не меньше шестисот человек... Невестка ждала смерти Н.И. с завидной уверенностью: еще два года назад в миг острого столкновения она предсказала, что скоро будет спать в собственной спальне, то есть в комнате свекрови...

VI

Появился в окне автобус — небольшой, без черной полосы, и, видно было через его стекла, — без какого-либо особого места для гроба: весь автобусный кузов, как обычно, был заполнен сиденьями. Но автобус явно предназначался для похорон, и мы заключили, что сыну дали его на службе, чтобы в него усадить провожающих, а катафалк будет само собой. Однако люк в задней стене как раз годился бы для протаскивания гроба...

Вышел шофер — спокойный мужчина средних лет, осмотрелся, пошел к нужному подъезду. Не став больше ждать своих друзей, пошли следом за ним и мы, и у лифта он спросил, здесь ли сто седьмая? — Нам туда же, — ответили мы ему, и мягко подрагивающая клеть понесла нас кверху. На звонок быстро отворили незапертую дверь. В тесноту прихожей, где кроме нас, пришедших, были еще две-три пожилые женщины, из комнат вышел сын, одетый в черный костюм с белой сорочкой — красивый в замкнутости своего узкого лица, очерченного правильно и строго, но и по-восточному мягко. — Машина? Но еще без четверти?.. — глухо и растерянно спросил он шофера. — Договоривались на половину... Не все пришли. — Шофер воспринял это без возражений:

- Если желаете в половину, пожалуйста, в половину.
 - Вы уедете или будете ждать?
 - Подожду.
- Шофер ушел.

VII

По двум комнатам, слева и справа от ее дверей, сидели и стояли люди, которые говорили хотя и негромко, но и без особенных приглушенных или расстроенных интонаций – говорили обыденно и обменивались сведениями о том, – как доносилось сюда, в коридор, – что она, конечно, догадывалась, знала, но вот как же это быстро! – как неожиданно! – даже представить невозможно! – такая она была энергичная! О том же говорили и сидящие в ее комнате три арбатские старушки в беретах и пальто: их видно было в открытую дверь, наискосок, у правой стены, где третьего дня оставил я Н.И. лежащей на кресле-кровати. Сын же, закончив с шофером, встал в дверях, и когда мы, уже сняв свои пальто, входили в комнату, там рассказывалось, как она посылала подругам поздравления с недавним праздником и прощалась с ними: – Она, конечно, знала, да? – спрашивали старушки у сына с видимой заинтересованностью-любопытностью, и доверчиво-восторженная удивленность так и поблескивала в их глазах. – Да, знала, конечно. Только не хотела расстраивать. Делала вид. Мы тоже, – с угрюмой вежливостью отвечал он им.

VIII

Гроб, первым делом заметил я, стоял на том самом раскладном столике, – все, оказывается, в ее узкой комнатке было раскладным! – на том столике, вокруг которого садились мы для работы в продолжение нескольких лет. Под крышкой его, на дне открытого ящика, хранились до сегодняшнего, наверное, утра инструменты наши – скальпели, кисточки, оселок, а также коробочки со старой загустевшей олифой, снятой с икон, банка с воском, всевозможные ваточки, тряпочки, марли. Спирт, масло, нашатырь, одеколон, лаки, пигменты – это хранилось у нас в

шкафу. Оттуда каждый раз все доставалось и тоже подавалось — ставилось на стол по мере надобности. Заканчивая работу, прилежно раскладывали все в прежнем порядке — что на шкаф, что внутрь ящика. И стол снова складывался и пустел.

Теперь же стоял на нем гроб с ее телом. И самого-то стола — такого узкого — вовсе не было видно под гробом, только тонкие ножки изящно утыкались в пол. Не в пол, вернее, а в какие-то обернутые бумажными салфетками бруски: тонкие, остроконечные ножки могли бы продавить линолеум, впечатать в битум под ним следы свои навсегда, и вот, побеспокоились хозяева сделать подкладки, чтоб этого избежать: так поняли мы назначение подкладок уже потом, задавая себе вопрос, не ритуал ли это — не ставить ножки прямо на пол? А может быть, ритуал? И мы зря наговариваем? Ведь никто из нас ритуала не знает...

IX

Лицо ее помещалось близко к окну, среди всего во-круг происходящего одно только это лицо было зримым местом пиршества смерти. Победоносная жуткая тризна распада праздновалась на нем. Оконная приоткрытая створка немного покачивалась от сквозняка, и на лице перемещались полосы и пятна теней — и это шла работа кисти или резца умелого мастера: скрадывалось, убиралось как будто все ненужное — ненужное для жизни; оставлялось нужное для смерти: заострившийся, почему-то чуть вбок запавший нос; ряд зубов; прядь седоватых у корней и крашенных выше волос...

Присоединили к уже лежавшим в гробу и наши цветы. Стояли молча, смотрели. Кто-то из мужчин спросил сына, не пора ли? Тот ответил, что нет еще Ю. и С., надо ждать. Я спросил, та ли это машина, которую заказали из бюро? — Та самая. — Почему же нет места для гроба, ведь там только ряды кресел, как в обычном автобусе? — Не может быть, что-то не так.

Х

Я спустился вниз, к автобусу. Шофера не было, через стенки заглянул в кузов. Нет, в самом деле, куда же мы поставим гроб? На пол? Но уместится ли он в проходе? Да и разве бывает так, чтобы гроб стоял на полу? Катафалк — это обязательно возвышение, постамент, что ли, для гроба. А вдоль него, по обе стороны — скамьи, и сопровождающие, хотя и сидят, но все же обращены лицом к покойному, и во время его последней поездки как бы совершают последнее бдение, вахту, несут караул почета около тела умершего...

Вернулся в квартиру, рассказал об увиденном, бойкая женщина соседка уверила, что гроб войдет, что можно подставить табуретки... С тем и согласились молча.

XI

Остановилась около нас с Т. одна из женщин и почти радостно заговорила о том, как Н.И. нас любила, как рассказывала о нас. — Хорошо, что воспоминания успели отдать в библиотеку, она очень была довольна. Это было ее последним делом. И картина тоже. Картину она хотела отдать в Переславль, в музей.

Да, картина... Огромное полотно, два на два метра, которое не могло вписаться в комнате и было сверху несколько подрезано, стояло здесь же, косо расположенное в простенке от двери до боковой стены. Картина казалась еще одним зеркалом, таким же, как и то, музейной работы зеркало, что было прикрыто сейчас простыней. Картина и вправду стала зеркалом ее верований, ее мыслей и привязанностей, и вложила она, наверно, бездну труда и своих последних сил в эту свою последнюю работу. Изображала картина Ленина и группу детей, беседующих под густой зеленью огромного дерева в каком-то глухом и, я бы сказал, мрачноватом для этой светлой идеи лесном местечке, — возможно, в парке Горок или Сокольников...

XII

Женщины поблизости от нас начали что-то говорить

сыну покойной по поводу платка, которым была покрыта ее голова. Он, как я понимал, хотел, чтобы платок сняли, бойкая же соседка доказывала, что надо оставить покойную в платке.

— Не носила она платка, — проворчал он.

Женщина — та, что говорила нам о картине, судя по всему, близкая подруга Н.И., примирительно и опять чуть ли не весело объяснила, что сын хочет видеть мать такой, какой она была. Нет, возразили на это, полагается ей быть в платке.

— А, да мне все равно, — махнул рукой сын и отошел.

— Ну, если полагается по обряду, — улыбалась подруга и с некоторым недоумением снова обратилась к нам: — Она, по-моему, никогда не была верующей? Ведь так, вы не знаете?

Я пожал плечами. Неужто ей, подруге, оставалось неизвестным, что Н.И. — еврейского происхождения?

— Сама-то она все обычаи и праздники очень хорошо знала. Сколько она церковью разрушенных спасла! — с гордостью продолжала женщина. — Она народу очень много оставила! — И довольная этими красивыми, правильными словами, передвинулась куда-то с глаз...

XIII

В дверь позвонили: пришли Ю. и С. Как и мы, мучаясь, торопясь и волнуясь, оба снимают пальто, идут к гробу, кладут цветы, стоят, смотрят.

Теперь уже близилось к выносу, и я еще раз спустился к автобусу. Шофер был в кабине.

— Будем сейчас спускать гроб, — сказал я ему. — Но ваша машина... Она приспособлена? Что, разве на полу будет?..

— На полу, — подтвердил шофер.

— В проходе? Разве умещается? — все еще сомневался я, но уже с вялостью, зная, каков будет ответ. Он успокоил меня окончательно.

— Ну ладно, тогда покомандуйте, — попросил я.

— Спускайте, спускайте, не беспокойтесь.

XIV

Я уже и не беспокоился. Поднялся наверх, сказал сыну, что шофер на месте.

— Ну ладно, — говорит он, — пожалуй, пора. — Оглянувшись назад, бормочет что-то, я расслышал слово "один", и тяну С. за собой. Не рассчитал ли оставшийся в комнате или от сквозняка, но дверь за нами неприлично громко громыхнула.

Что он там говорил ей? Поцеловал ли? Подумали ли о чем? Обещал что-то себе на будущее, в память о ней? Вспоминал ли о прошлом сын, когда был еще с нею один на один, и житейское непонимание, а потом и жена еще не успели разъединить и отодвинуть от него материнскую душу?

И полминуты не прошло — он уж отворился и сказал в коридор: "Теперь можно".

XV

Мужчины принялись за дело.

Новые жилища не рассчитывают на то, к примеру, чтобы в них можно было вносить рояль: кому нужен сегодня в квартире рояль? Не рассчитывают и на то, чтоб выносить покойного. Да и если рассудить здраво, жилье — оно служит только тем, кто в нем прописывается в момент вселения, на кого выдается ордер райжилотделом. Было для этой квартиры предназначено четверо — на них она и рассчитана. А если учитывать, что пятый и даже шестой здесь может народиться и ему понадобится место; или, напротив того, первый умрет и его понадобится выносить, — да если все это учитывать, как тогда строить? И дорого, и неразумно.

В двери гроб не проходит. Так что, кому для того же пригодится, можете сделать, как мы: свернутыми в жгуты простынями привязали покойницу к гробу — на уровне груди, где руки сложены, и на уровне бедер. Пронесли гроб сколько можно до упора в коридорную стенку и стали заваливать — боком, боком, и подавая вперед вершок за вершком. Голова при этом клонится в сторону, однако тут уж ничего не поделаешь, потому что — дай бог одно: не

уронили бы гроб, не выпала бы покойная!.. И знаете — при известной смелости, то есть при отсутствии не то что бесполезного, но даже мешающего в этом случае *уважения к смерти*, — все можно сделать удачно, со сноровкой и довольно скоро вынести гроб на лестничную площадку. А голова покойной, едва тело вновь повернулось спиной к земле, приняла почти прежнее положение, разве что несколько сохранила наклон к плечу. Однако и это, наверное, было неважно, потому что по узким маршам предстояло пройти одиннадцать этажей вниз, и мы, мужчины, так и эдак перемещались вдоль гроба, принаравливаясь, берясь, указывая друг другу, где и как лучше, меж тем как все это — и гроб, и мы с ним вместе — будто влекомые силой его тяжести вниз, по наклону лестницы уже уходили ниже и ниже. Дошло до первой площадки и, быстро решив, кому держать, кому забегать вперед, отпуская и перехватывая — стали разворачиваться — для чего пришлось воспользоваться единственной возможностью: приподнять гроб над перилами. Труба мусоропровода и трубы отопления то и дело ударили в спину и в локоть, задевали о гроб, но уже спустились на этаж, на два и на три; отдохнули, поддерживая ношу на перилах; протиснулись еще несколько маршей, опять приостановились, кто-то (всего мужчин было шестеро) подхватил, кто-то отошел, затем вновь брались, — и я обнаруживал, что незаметно для себя оказывался то впереди, то в ногах, то сбоку, то в головах — все происходило споро, словно и вправду гроб сам собой двигался, а мы только были при нем. Вот бы не только в минуту смерти человеческой, а всегда бы люди так ладились, — пришло на ум.

XVI

Но вот уже и улица, и две колченогие табуреточки на асфальте. Поставили на них гроб осторожно, распрямились. Девтора подбежала, и низко, прямо в лицо, дети стали рассматривать мертвую; дождавшиеся привычного зрелища местные бабы, которые сидели до того на лавочке у подъезда, поднялись и смешались с провожающими. Вынесли венки, взяли гробовую крышку. Отвязали простыни, и

кто-то, свернув плотно, положил их в ноги, под покрывало. Шофер сказал: "Ну, закрывайте!" — и умершую впервые закрыли от людских взглядов. Зев задней дверцы автобуса был откинут уже кверху, и когда подтащили мы гроб, я увидел то, чего не смог обнаружить, когда заглядывал в окна: пара задних сидений была развернута вдоль стенки, и в хвосте автобуса проход поэтому был шире обычного, так что гроб тут, действительно, мог уместиться. Умещался он только-только, и конечно же, на полу — табуреток никаких, сказал шофер, не надо. Едва стали заносить в машину, какая-то женщина, как заметила Т., поспешно подбежала к табуреткам и положила их на земле на бок, — видимо, исполнила ритуальное действие, нам незнакомое вовсе.

Гроб вдвинули, жестко прогремел венки, и вертевшийся около нас мальчишка громко, будто хорошо отвечал на уроке, произнес: "А эти цветы — искусственные!" Он и вправду, этот венки, гремел, кажется, не железным своим каркасом, а дикой яростью анилиновых красок.

Стали рассаживаться в автобусе. Пропуская мимо себя женщин, я увидел, что жена сына не идет, стоит на месте. Не едет, значит, на похороны. Тут вспомнилось мне, что нет здесь внука. Наверно, услали куда-то, чтобы не видел мертвую бабушку, пощадили детскую душу. Но в четырнадцать-то лет — надо ли ограждать от *такого*?

XVII

Случайно или нет, Т. села на задних креслах, лицом к гробу; войдя, и я сел рядом. Напротив, по другую сторону гроба, сидел сын и с ним один из незнакомых мне мужчин.

У моих ног лежал на крышке венки, и меня вдруг разозлил вид белого картонного ценника, который нагло смотрел из стружечной листы. Я дернул за проволочку, которой была укреплен картонка, но проволочка оказалась крепкой, перекрученной и зажатой металлической пломбой. Тогда я схватился за ценник, оторвал, и, прежде чем сунуть его в карман, пробежал глазами написанное на нем: "Специализированный трест бытового обслуживания

ф-ка венков, цветов и других изделий ВЕНОК размер 110 см Цена 10 руб Веночник № 12”.

Когда автобус двинулся и стало потряхивать и раскачивать, венки со скрежетом поползли с крышки. Уложил его сбоку и красную ленту с надписью ”От детей – любимой маме” подоткнул, чтобы она на полу не грязнилась.

XVIII

Поехали по Аминьевскому шоссе, потом свернули к Очакову, проехали деревенской улицей и сразу же оказались на проспекте Вернадского. Ехали быстро. Переговаривались, поглядывали в окна. Я разглядывал затею грубого художника, постаравшегося охрой и белилами зарисовать под дерево само же дерево... Вдоль крышки тянулась трещина – уже успевший проявиться из-под краски широкий провал между двумя досками. Покатили по Внуковскому шоссе – мимо знаменитого, расхваленного газетами на все лады нового поста ГАИ, который, чтобы правительство спокойно могло проноситься к аэродрому и обратно, оборудовали не то телевизорами, не то радарными, не то какой-то другой электронной палочкой-выручалочкой...

Неожиданно с шоссе свернули влево, и тут уж я стал смотреть в окна внимательно, чтобы запомнить дорогу на кладбище.

XIX

Поворот этот находился, как я прикинул, километра через два после кольцевой дороги. Вдруг открылся какой-то убогий, не подмосковный пейзаж: миновали по петляющей бетонке несколько деревушечных домиков, оставшихся по правой стороне, и выехали на ровные пустые земли – бурные, в непросохших лужах, с клочьями прошлогодних безжизненных трав.

Если бы я был сказителем народным, вроде Рябинина, я сказал бы, что приехал я во чисто-поле; а был бы я символистом времен Беклина, как Андреев, сказал бы про остров мертвых. Но не все ли мы приверженцы реализма – социалистического, конечно, потому как не дети ли мы ве-

ка своего и страны своей, и не этой ли землей вскормлены?
Мы проезжали московской клоакой.

XX

Я не видел, по малости тех моих лет, военной мясорубки (может быть, доведется еще). Но помню я военные фотографии в газетах, помню военные кинохроники, где под звуки симфонической музыки показывались русские поля с чернеющими на снегу трупам, с валяющейся по сторонам дороги разбитой техникой... Всплыло это вот теперь в памяти, когда увидел я творящееся вокруг. Только не оставалось уже снегу, и все, что разбросано было на поле, выглядело неопрятно-промокшим, осклизлым, будто разложившимся до потеков...

Ткнувшись носами в податливую почву, косились по обочинам грузовики; надвигались сарайчики из ржавого железа и скрывались, беззвучно разевавая провалы дверей; вагончики на пустых осях с забытыми фанерой окнами неподвижно ехали в никуда. Фигуры, мало похожие на людские, в отвратительных залосненных одеждах, с темными лицами, в позах то склоненных к земле мародеров, то с воздетыми к небесам руками проповедников, возникали тут и там у сараев, у машин, у вагончиков; вороны лениво перелетывали низко над землей, сливаясь с нею. И повсюду, сколько хватал глаз, полнилась земля жирным изобилием отбросов городской человеческой жизни: слипшиеся кучи разнообразного мусора покрывали почву так, что кое-где она едва ли не навсегда исчезла под слоями свезенной сюда всяческой дряни. Похоже, что это были застарелые, уже исторически сложившиеся слои. То же, что привозилось в железных баках на машинах и сваливалось по обочинам, подлежало, судя по всему, разбору, пересмотру и сортировке, и время от времени являлись взору кучи отделенного и сваленного вместе тряпья; холмы бумажного месива; горки из деревянных планок и ящиков; приблизилась пирамида больших селеческих банок, за которыми так душатся в очередях хозяйки; и, как работа поп-мастера, промелькнуло нагромождение матрасных пружин. Все-му тут было место, все было нужно, так как все тут снова

готовилось на дальнейшую потребу, и люди, которые встречались на нашем пути, занимались своим делом — работой, хотя и грязной, но необходимой.

Сколько таких клоак вокруг Москвы? Глупо предполагать, что эта, южная, единственная на весь огромный городской организм. Есть, конечно, и другие такие же, где-нибудь и к западу, и к востоку, и к северу — о чем тут говорить. Для нашей людской жизни нужны все эти клоаки — мусоропроводы, свалки, помойки и кладбища.

На миг я упустил из сознания, что въезжаем-то мы на кладбище.

XXI

По этой петляющей среди поля неширокой бетонке продвигались мы уже не столь быстро, как по Внуковскому шоссе. Мы шли в непрерывной почти веренице машин — легковых такси, маршруток и небольших автобусов, подобных нашему. Точно такой же поток стремился навстречу, и весь этот транспорт был заполнен народом, которому так или иначе вышла необходимость побывать в этот день на кладбище. Если бы знал хоть кто-нибудь из нас обычаи, то, наверное, нашел бы объяснение тому, отчего так много людей стремилось побывать на кладбище в этот пасмурный день, когда православная церковь, по необычному стечению дат, отмечала одновременно два годовых весенних праздника — Благовещение и Вербное воскресенье. Быть может, в какой-то из праздников или всегда в праздники кладбище усиленно посещается? Так или иначе, но лишь только свалочные сооружения стали редеть, впереди увиделось необычайное людское скопление. Поле в той стороне чуть-чуть приподнималось, и на фоне белесого неба издали открылась панорама какого-то брожения, толчения на месте множества фигурок, каждая из которых силуэтиком головки и плеч напоминала верхнюю часть муравьиного насекомого, вставшего на задние лапки. Всего же остального — от груди или пояса, туловища и ног увидеть было невозможно за какой-то пестро-лоскутной, мельтешащей в глазах то красным, то бурым, то зеленым неровной полоской, которая пролегла над землей. Что-то подобное видел я

недавно на вильнюсской толкучке, удаленной за город, в поле: там было такое же среди пустоты копошение голов, производившее издали то же впечатление из-за множества цветастых одежек, которые держали на руках перед собой.

Но по мере того, как подъезжали мы ближе, пестрая полоска постепенно проявлялась отдельными деталями, и можно было догадаться, что бурые пятна — это бугорочки земли; что красное и зеленое — ленты и ветки таких вот веночков, какой везли мы с собой; что из-за этих единообразных бугорочков люди видны лишь частично, что они едва ли не в шахматном порядке расположились в этом бугорчатом мире, и что нам предстоит сейчас влиться в их массу и стать такими же копошащимися среди набухшей глины насекомыми.

Мы подъехали к нескольким вагончикам и сараям той же тягостной архитектуры, как и те, что остались только что позади, на свалочном поле. С десятка машин стояло тут, остановились и мы. У края дороги, рядом с битым кирпичом и кучей гравия, была воткнута железная табличка с поспешными черными буквами: "Хаванское кладбище".

XXII

— Не выходите, — посоветовал шофер. — У кого документы — идите в контору и оформляйте. А на место еще надо будет подъехать.

С документами пошел М. — приятель сына покойной. В салоне воцарилась тишина. В пути-то и мотор шумел, и переговаривались, кое-кто довольно громко; теперь одно гнетущее молчание говорило — красноречиво говорило, как все были подавлены окружающей картиной.

Снаружи, поодиночке и группами, деловито сновали люди, выбегали с бумагами, тащили железные таблички, садились в машины и отъезжали, освободившееся на стоянке место занимали вновь приехавшие. В одном из вагончиков отворялись дверцы, впуская и выпуская рабочих, измазанных в глине по воротник, в другой устремлялись заказчики. На каком-то из сараев была прибита доска с надписью: "Бетонный цех".

Ждали долго. Наконец, кто-то обрадованно сообщил, что пошли уже к передней машине — значит, скоро и нам оформят. И верно: торопливой походкой прошел М., уже держа обмазанную алюминиевой краской табличку, скрылся где-то впереди, потом вдруг ввалился в двери: "Пятьдесят девятый участок!" — объявил он.

Заработал мотор. Машина по большой дуге стала огибать кладбище. Перед глазами, будто на киноленте, которую режиссер ускоренно прокручивает сквозь монтажный экранчик, чтобы вырезать ненужные куски пленки, замелькали картинки кладбищенского быта. Женщины торговали бумажными цветами. Потянулась какая-то бесконечная очередь — оказалось, на посадку в маршрутные такси. Горки песка и гравия — надо думать, его привезли для "Бетонного цеха" — облеплялись со всех сторон людьми с ведерками и лопатами — они растаскивали материал для могил. Носили воду из кювета, здесь же, стоя в воде, отмывали сапоги от глины.

А вот и могилы начались. Пассажиры нашего автобуса имели уже немало возможностей убедиться, что кладбище это — *новое*, и как только в салоне снова стало шумно от двигателя, начался обмен мнениями и вопросами. Кто-то сказал, что открыли кладбище в прошлом году; кто-то пояснил, что здесь близко микрорайон "Теплый стан" — вон, видите, дома вдаль? Одной из женщин очень понравилось слово "обслуживание", в которое она вкладывала, по-видимому, бездну иронического смысла, и очень хотела, чтобы все по достоинству оценили саркастические стороны ее ума, и потому громко повторяла, меняя на все лады интонацию: "Обслуживание! Обслуживание?!.. Это — обслуживание!" — и так далее без конца.

Когда остановились, одна из арбатских старушек не вовремя, во внезапной тишине, обронила трясущимся звуком: "Какой ужас!" — и осеклась.

XXIII

Она, старушка эта, выдала то, что, больше или меньше, охватило нас всех.

Почему — не смерть сама? Почему — не самоисчезно-

вание человека? Почему — не вид, уж если честно смотреть в лицо смерти, — почему не вид омертвевшего тела? Почему именно картина кладбища вселила "ужас" — не в одних только старушек, которым самим вот-вот готовиться к смерти, а и в нас, молодых, от которых, по нашему материальному разумению, смерть далека так же, как и Бог?

Не сумею, наверное, объяснить всего; да и не дано, я думаю, постигнуть суть этого, потому что касаются такие вопросы самой сущности человеческой, вникнуть в которую никто не может. Но только так уж, видно, мы устроены, что способны перенести, понять и даже простить надругательство над жизнью. Надругательство же над смертью — это деяние только в ужас может повергнуть.

XXIV

Кладбище наше и было самым надругательством. Свалка отбросов: бумага, мусор и тряпье — и трупы. Все свозилось во чисто-поле и отделялось одно от другого: тряпье — у одних вагончиков, банки — у других, трупы — у третьих. С той разницей, что мусор намеревались пустить вновь в обработку и использование, трупы же почитались здесь бесполезными, и это, наверное, была единственная причина, по которой их закапывали в землю, а не складывали в компактные тюки и не складывали в сараюшки. Была, можно предположить, и другая причина: обычай захоронения, которого привыкли придерживаться живые. Но смехотворно говорить здесь об этой другой причине. Ведь разрешили же люди поправить главный обычай, связанный с похоронами — обычай *уважать смерть*. Почему же, доведя уже себя до ужаса этой кладбищенской картины, не позволить и еще одного шага? Почему, отдав смерть в руки "обслуживания", не позволить "обслуживанию" ну хотя бы уже из дому или из больницы увозить мертвецов, а там пусть делают с трупами, что хотят — пусть бы и в тюки?..

XXV

Разрытая, разрыхленная, влажная глина горбилась со всех сторон. В глину эту брошены были гробы — ряд за

рядом, тесно и близко: боками, ногами и головами, чуть дальше — чуть ближе друг к другу. Над покойными — будто утопленные в глине стремились вырваться из могил и все прыгнули вверх грудью, — образовались бугры, кочки, горбики — повыше и пониже, в зависимости от того, сколько пролежал покойник: над новым — бугор был еще хорошо заметен, а над старым, словно у мертвого иссякли уже силы прогибаться грудью и держать слой глины на себе, — над старым все уже оседало, и горб проваливался. На этих, старых, участках захоронений, то есть, может быть, осенних, и суетились люди, стараясь спасти могилы от исчезновения. Люди, которые издали напоминали муравьев, и в самом деле выполняли муравьиную работу: так чинят, подправляют, укрепляют муравейник его жильцы, когда он оказался поврежден. Потому-то и таскали с энтузиазмом песок, щебенку, воду, сыпали, лопатили, месили, оглаживали — формировали могильные холмы. Люди толклись, задевая друг друга и мешая работе, поскольку проходы между могил были шириной в ступню, и каждый топтал и рушил то, что незадолго до него сделал сосед. Не муравьи — так дети, строящие из песочка, чтобы другие дети тут же сломали постройку...

Повсюду с бугров свисали красные ленты изделия "ВЕНОК размер 110 см Цена 10 руб"... Отрешившись от слова "кладбище", легко было принять все это за майскую демонстрацию: толпы людей и — красное, красное, красное, кое-где проглядывают синенькие, желтенькие, розовенькие бумажные цветочки, и чуть больше — бумажная и стружечная зелень. Даже, для полного довершения сходства, пронесли большой портрет в красном обрамлении. Только не из тех портретов. *Те*, если их несут на кладбище, то не на это, а на Новодевичье.

XXVI

Из автобуса, подъехавшего раньше, вынесли точно такой же, как наш, гроб.

— Степан! — крикнул шофер. — Отгони свою вон туда, я на твое место встану.

Передняя машина отошла, мы развернулись задним

люком к дороге. Шофер открыл дверцы, все стали выходить, загремел и откинулся кверху люк. Через него потянули наружу гроб, я подправил его движение, стоя еще в машине, потом выбежал, чтобы успеть подхватить, когда поспеет. По-деловому собранный М. уже указывал, куда нести. Оскальзываясь, наступая на скаты могил, прогиснулись мимо них на голое окраинное место, которое отвели под сегодняшнюю партию захоронений. Тут стояли две сваренные из трубок подставки в уровень стола, и на пару продольных трубок мы и поместили ношу. М. сказал: "Бригадир сам подойдет, вон он". Все посмотрели на полноватого, крупного парня с румяным простодушным деревенским лицом, которому неподалеку толковали что-то люди, пришедшие хоронить перед нами. Парень был в сдвинутой на затылок кепчонке, в синеватой спецовке, — он, пожалуй, располагал к себе. Бригада же его была диким сборищем тяжелых личностей мрачного забулдыжного и биндюжного толка.

Вдруг прорезались звуки труб: четверо духовиков — труба, валторна, тенор, баритон — огласили небо янычарской музыкой, в которой по отдельным признакам вспоминался шопеновский марш. Участникам похорон хватило трех тактов, и музыканты, вертя головами, — куда теперь? — гуськом, перебежкой скрылись в стороне.

Мы ждем, пока бригада освободится. Впереди, где только что опускали гроб, происходило что-то веселое: улыбались мужчины-заказчики, улыбались и рабочие. Окажется, там появилась водка: разливали в стаканы, подносили, опрокидывали в горло, подставляли снова, и это была общая радость — такая простая и человеческая. Один из рабочих подошел со стаканом к краю могилы, осклабясь, наклонился, оттуда высунулась рука и приняла стакан.

Рабочий в немыслимой на этом пронизывающем ветру одной лишь трикотажной майке торопливо прошагал к нам, выхрипнул нервно:

- Прощаться будете?
- Будем, будем, — сказали женщины.
- Что же стоите?! Прощайтесь! — велел он недовольно, тут же отходя. И уже около своих, все недовольный

чем-то, что не имело к нам отношения, он густо заматерился.

XXVII

Открыли гроб.

Она лежала, как уже все ее видели: со свернутой не-много к плечу головой, в сбившемся платочке, маленькая, узкая, пожалуй, привычная уже, не пугающая. Женщины стали обирать живые цветы, разложенные вокруг головы и вдоль тела, и я понял, как неудобны оказались мои фиолетовые цветочки-коротышки — их приходилось брать по-одному, а они вываливались из рук и падали на землю. Я стоял у ног, и тут взгляд мой упал на возвышение под покрывалом: в ногах покойной положены были простыни, которыми привязывали ее к гробу. Я приподнял покрывало, вынул простыни и сказал: "Вот, остались, куда их?"

— Их не надо убирать, надо оставить. Он хотел, — возразила стоявшая рядом женщина. Говоря "он", конечно, она имела в виду сына. Обращаясь к нему, женщина спросила: — Может быть, еще что-нибудь осталось? Нет?

Сын то ли не понял, то ли не расслышал. Он стоял и смотрел на мать.

— Положите, положите, — сказали мне женщины, и я поспешно, стыдясь своего незнания правил, стал укладывать простыни на прежнее место.

Быстро подошел М. с рабочим. Тот молча приложил лопату по длине гроба, и М. уставил ноготь мизинца у края лезвия, рабочий перекинул лопату еще раз — она уложилась вдоль гроба ровно дважды.

— Ну? — вызывающе спросил рабочий. — Что я, не знаю, что ли?

И отправился к своим.

— Эй, забивай пока! — кричал кому-то бригадир. А к нам, беззлобно огрызаясь: "Иду, иду уже!" — и правда, уже подходил еще один рабочий с молотком.

Накрыли покойную крышкой. Теперь уж *совсем*, и самая молодая из всех — двадцатилетняя соседская девчонка — выразила это "совсем" испуганным "ой!" — когда накрыли и когда застучал молоток.

— На замок рассчитывать нечего, — приговаривал рабочий, загибая какие-то жестяные полоски, — он все равно не держит. Так... Хорошо...

Он каждый раз смотрел, чтобы острие гвоздя не выходило снизу наружу: в этом был для него, по-видимому, свой профессиональный шик, а может быть, и смысл какой-то — не зацепить, например, веревкой за гвоздь, когда спускать будут в могилу...

— Вот так вот, — удовлетворенно проговорил рабочий, закончив.

И беспечно-весело, с фамильярностью, с какой частные делу указывают профанам: — Вот так и ножками, ножками вперед понесете, в последний путь!

Некоторое время ждали, пока прикажет бригадир.

Отойдя немного в сторону, сошлись впервые за все это время мы вместе — Ю., С. и мы с Т.

— Это кошмар, — проговорил Ю.

И тогда мы кое-что сказали — горько и злобно — о нашей жизни и о нас самих, допускающих вершиться этому кошмару...

XXVIII

— Пошли!

Окружили гроб, сняли с подставки. Кто-то спросил, не надо ли на плечи? Нет, нет, ответили ему, так понесем.

Единственный среди нас пожилой мужчина догадался заранее выбрать места, где было лучше пройти, чтобы не увязнуть в грязи. Он шел впереди, и действительно, путь был сравнительно сух, но пролегал он между готовыми могилами, а не с краю кладбища, и мы рушили один холм за другим. Взяли бы гроб на плечи — нам бы понадобилось, может быть, ширины меньше, но поделать уже ничего было нельзя.

— Заходите, заходите! Теперь уж головой придется, раз тут пошли! — направляли нас рабочие.

Мы развернулись, и последние метров пять гроб двигался головой.

— Ставьте! На землю, на землю! — торопили они нас, возбужденные каким-то владевшим ими неизменным рит-

мом быстрой работы. Опустили на боковую насыпь, и рабочие разом оттеснили всех от гроба.

— Веревки где?!

— Да тут, чего орешь!

Поодаль один из них, пьяный, видно, вконец заматерился не во-время — двое из бригады сразу же осекли его: "Хватит, хватит, ты что?!"

Гроб кантанули чуть влево, чуть вправо, чуть приподняли — веревки зазмеились по сторонам, а из маленькой, неглубокой могилки подтянулся на руках копатель, выскочил на скос и, не глядя, отбросил прочь лопату, задев чьи-то ноги.

— Смотрел бы, человека же зашиб, — сказал ему М.

— Прости! — рабочий отвечал проникновенно. — Прости, друг, не видал...

— Я, я возьму, отойди! — в деловом азарте нервничали рядом. — Поднимай свой конец!

— Заводи!

— В сторону, в сторону! — крикнули нам.

— Отпускай!!

И ухнули гроб! — сбросили, ящик грохнул дном об дно могилы, и ни зазоринки, ни щелинки вокруг него не осталось: лишней работы не сделали, тик в тик подогнана могилка, да и неглубока — полутора метров до гроба не будет.

Схватились за лопаты, закидывать начали, и один, не прерываясь, спросил:

— Земельку-то бросать будете?

Поспешно я наклонился, бросил, отошел, топча соседнюю могилу, торопились уж и другие, но шепоти земли о гроб уже не могли достучаться — лопаты работали и быстрее, и сноровистей, бригадир уже, видя, что яма заполнилась и подгребают теперь для холма, стал указывать: "Тут три лопаты... сюда, в голова... Здесь больше!..."

Свершилось разом — и нет ничего. И сдавило, нахлынуло вновь ощущение свалки — всеобщей, вселенской, бездонной, бескрайней — в которой и я — я, вот он, стоящий, и те, и они, и она — все мы, бедствующие жизнью и смертью своею в этой взлохмаченной глине, на этой замусоренной земле... Не выдержалось что-то внутри, — навернулись сле-

зы, но — ”глупо!” — сказал я себе, и разум возобладал — не потекли.

— Живые? Цветы? Живые? Давайте, чего ж вы! — рабочий вырвал у Т. цветы из рук, ткнул в холм, и скоро — так скоро, как нужно было им, рабочим, стали укладывать и остальные цветы, прилаживать венки, втыкать железную дощечку с фамилией и датой — почему-то не смерти, а сегодняшней датой похорон.

Я огляделся, чтоб, может быть, чем-то отметить в памяти место. Вдруг увидел, что с одного края, метров с трехсот, к кладбищу подступал березовый перелесок. ”Там бы”, — подумалось. Увидел еще, что где-то за ближайшими могилами торчали хрупкие ветки протянутых к небу ничтожных стволиков: значит, сажали уже кое-где у могил деревца... Перевел взгляд поближе, — но тут замечать было вовсе нечего: те же неровные кочки, те же дощечки, а фамилии на них: ”Смирнов”, ”Крюкова”, ”Иванов”, ”Дронов”. Не звучные фамилии.

И еще увидел несколько крестов. И они, как дощечки, сварены были из железа, проволокой меж перекладин обозначалось несколько простейших завитков, и все было крыто той же алюминиевой краской. Даже столь анахроничный, чуждый как будто всему здешнему предмет был подогнан видом своим к общему виду бессмысленности и суеты, царившим вокруг. Как был здесь ”Бетонный”, как был ”свалочный”, так, верно, был и ”сварочный цех” в одном из сараев, где варились дощечки — массой, а кресты — по отдельным заказам.

XXIX

Стоя над новой могилой, бригадир говорил последнее слово — заученно, единым духом *информировал*:

— Ограды заборчики не разрешаются делаются стандартные бетонные обрамления два метра на сто восемьдесят общий размер сбоку место для родственников если кто заказывает оформляется в бетонном цехе.

— А когда оформлять? — спросили его.

— Там узнаете, в конторе. Уже заказы на октябрь, на ноябрь идут.

— А где сто восемьдесят? — зачем-то еще спросили.

— Сюда и сюда, — махнул бригадир по сторонам могилы. — А сюда и сюда — два. Больше запрещено, тут уже могилы.

Он повернулся, и бригада, нетерпеливо ожидая его, разом сдвинулась на пару метров в сторону, окружая следующую, уже почти готовую яму. И нас ждали: чтобы освободили место — и для машины, и для проноса гроба, и для того, чтобы можно было отоптать и порушить наш неровно сложенный холм.

Потянулись к машине друг за другом, а Т. заходила в сторону и отворачивалась, потому что теперь нахлынуло на нее, и она заплакала.

Уже на дороге нас обогнала группа людей, тоже, судя по всему, только что хоронивших.

— А что? — говорили среди них. — Хорошо ли, плохо, — и нас сюда же!

— Да уж сюда навряд. Год-два, и закроют, а такое же откроют еще где-нибудь.

— Все едино! Все там будем.

Поблизости от машины стоял нищий. Он был на костылях, держал в руках ушанку.

— Подайте, милые, несколько копеечек на поминки. В последний же путь проводили...

Был он, может быть, неопытный нищий, но в голосе его оказалась такая безнадежность, что, сделав два шага и стоя уже у машины, я оглянулся посмотреть на него. Он почувствовал мой взгляд, повернул голову, и мы с полминуты глядели в глаза друг другу. Лицо его было хорошим — чистым и правильным простым лицом, а во взгляде стояла скорбь. Я не выдержал и отвел глаза.

XXX

Расселись в автобусе в прежнем порядке, шофер спросил: "Все на месте?" — "Все", — ответили ему нестройно. И двинулись в обратный путь.

Опять огибали кладбище и опять въезжали в помойку, и Ю. потерянно рассуждал, расширенными глазами

призывая нас разделить с ним его состояние: "Как же можно?.. Чтобы после всего... смотреть на это?!"

Но мы смотрели. И я бы мог рассказать много новых замеченных мною подробностей из жизни свалки. Например, как оборудованная краном мусорная машина снимала крюком со спины своей квадратный бак и переворачивала, высыпая его содержимое. Почему бы, представилось, и не хоронить так людей? Небольшим катафалочным краном — и из гроба в могилу? А фреза канавокопателя все подготовит — без тяжелого ручного труда, без водки и без матерщины. И другие еще подробности видел я, но они вызывали у меня столь же праздные мысли и представления. Поэтому не буду о них говорить.

XXXI

Но думалось мне и другое.

Умершая любила жизнь. Но не только жизнь относительно ко времени и месту: любила она *эту, нашу* жизнь, которая при ней началась и которая теперь без нее продолжалась. *Эта* жизнь подарила ей *эту* смерть. Ей, посвятившей себя спасению *красоты, эта* жизнь воздала — *помойкой*. Провезла сквозь клоаку и выбросила, как хлам. И если была умершая святой, то это и были ее последние, святые мучения...

Отца ее — верующего старика-еврея — убили фашисты. Он был зарыт в общей яме неизвестно где.

Мужа ее — молодого китайского коммуниста — убили в лагерях в Магадане. Он был зарыт в общей яме — неизвестно где.

Она была зарыта — на Хаванском кладбище, участок 59, в могиле № 2235.

Москва,
7-9 апреля 1974 года.

А.Синявский (Абрам Терц)

РЕКА И ПЕСНЯ

Не знаю, как в других странах, но в России реки связаны с песней. Сказка уходит в лес. Былина (героический эпос) выезжает в чистое поле (на подвиг). А песня тяготеет к воде, к реке. Само определение *река*, на русский слух, предполагает *речь*, которая текуча, певуча.

*Еще день за днем будто дождь дождит,
Да и неделя за неделей как река бежит. . .*

— пел древнерусский сказитель, имея в виду, что вместо реки, *вместе* с рекой бежит речь в пространственно-временной протяженности и слаженности песни. Песня — вода, льющаяся ручьями с волос Вещей Девы, которая эти волосы расчесывает, сидя на скале, и поет. Как у Генриха Гейне — на Рейне — Лорелея. Чешет Лорелея золотым гребнем свои золотые косы, —

*И песня волшебная льется,
Неведомой силы полна.*

То же и у славян — русалки. Правда, наши восточные и северные русалки не столь романтичны, как европейские. Они действуют не женскими чарами и соблазнами, а вульгарной щекоткой и, пользуясь удобным моментом, топят человека, зашекодав до полусмерти. В прошлом иногда

они выходили на берег и лезли на деревья в знак своей до- исторической принадлежности к жилищу мертвых. Или, похитив пряжу у нерадивых баб, русалки ее разматывали, раскачиваясь на древесных ветвях, над темной водой. Но уходить далеко от берега боялись: обсохнут и завянут. С тем чтобы не обсохнуть, расчесывали длинные волосы, с которых струилась вода. Волосы – волны. Пряжа – судьба – сопряжение – сказание. Сакральная плетенка орна- мента опоясывала горшок и корабль. Посреди лаптей и лу- кошек плели языком сказку – путеводную паутину Арах- ны, Ариадны, смотанную в клубок и раскиданную по лаби- ринту земного и подземного царства. Пряли и пели – в на- поминание о Мойрах, о Парках, предвечно плетущих чело- веческую нить. Водили хороводы в поддержание миропо- рядка, домостроя, круговорота в природе. Девушки зави- вали венки и, гадая о женихе, о суженом, пускали на волю волн, по реке, с песнями.

*В речку бросали,
Судьбу загадали,
Люшечки-люли,
Судьбу загадали.
Быстра речка
Судьбу отгадала,
Люшечки-люли,
Судьбу отгадала.
Коим девушкам замуж идти,
Коим девушкам век вековать,
А коим несчастным во сырой земле лежать. . .*

Пением в старину на Руси умирляли бурю на водах. И впрямь, утоляя душу, успокаивая боль и тоску, песня од- новременно вводит гармонию в расположение диких сти- хий (чем тебе не Орфей?). . .

С тех пор на реке и о реках принято петь. Куда ни по- вернись, в русских песнях сверкают пунктиром *река, море, кораблик, лодка* – как обоснование жанра, сюжетное и стилистическое – текущее – подтверждение тождества: песня – река. Движение воды, метрическое бряцание волн настраивает душевные гусли и подмывает – запеть. Даже

Маяковский, поэт, враждебный песенной сентиментальной традиции, позавидовал однажды, заслышав, как поют на реке, пошловатому куплету:

*Мы на лодочке катались,
Золотистый золотой,
Не гребли, а целовались. . .*

Не оттуда ли его "любовная лодка", расколовшаяся о "быт" в загадочном предсмертном письме?.. Пастернак, овладев лирикой, ту же фольклорную "лодочку" ввел под ребра, вместо сердца, и сделал из нее, "сложив весла", конструкцию внутренней и космической жизни.

*Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины. . .*

Не означает ли все это влечения самого песенного строя – к реке?.. Не отвечают русалки. Смеются. Целуют. Шекочут. Выжимают мокрые волосы, струящиеся потоками песен – и в древнее, и в новое время. На чем, спросим, держатся (помимо мелодии) "Подмосковные вечера", которые крутят теперь по всему свету? На том, единственно, что – "речка движется и не движется". И в советской обработке "издалека долго течет река Волга, течет река Волга" и никуда не утекает. Да и в моральное подкрепление сердечному другу-пограничнику "выходила на берег Катюша". Не куда-нибудь выходила, а – на берег: к реке – за песней. Ну а раньше и подавно.

*Ох, вниз по ма. . . вниз по матушке по Волге,
Вниз по быстрой по реке,
Ах, тута плы. . . тута плыла, выплывала
Легка лодочка косна.*

Что ни песня, то речка. Вопреки, иной раз, логике, здравому смыслу.

*Окол Дону, окол Дону,
Окол тихого Дуная
Добрый молодец гуляет.*

И дело тут отнюдь не в живописании любимой реки. Просто река ближайшая аналогия песне, и с нее все начинается. *"Бежит речка по песочку, бережок моет..."* А дальше можно петь про что угодно. Хоть про вора, который томится в лагере и к вышеупомянутой речке, казалось бы, не имеет касательства: *"Молодой жульман, молодой жульман начальничка молит..."* Свою судьбу и долю русские люди тоже нередко сравнивали с песней. В надежде на счастливый исход говорилось: *"Доведется и нам свою песенку спеть"*. А в случае поражения или конца: *"Твоя песенка спета"*. И снова и снова возвращались к реке, руководствуясь пословицей: *"По какой реке плыть, той и песенки петь"*.

Наибольшим успехом в России, да и во всем мире, из русских рек пользуется, разумеется, Волга. И не только потому, что самая большая в Европе. Или очень уж красивая. Само понятие *великорусской народности* во многом привязано к Волге, притом со стороны преимущественно анархичности русской природы. В нашем сознании *Волга* рифмуется со свободой, которой нам не достало в гражданской жизни и которую мы компенсируем в безудержном разгуле и в песне. Этой доброй репутацией Волга обязана в первую очередь, надо думать, бурлакам и разбойникам, о которых она поет так проникновенно, что уже и сама себе кажется баснословно могучей, удалой и дерзкой рекой. В литературном повороте (Некрасов, Репин, Горький) волжские бурлаки, тянувшие бичевой баржи, являли живой укор обществу как сладковатая олеография неподъемного труда. (Поддавшись той же инерции, и я в раннем детстве мечтал, когда подрасту, сделатья бурлаком, тянущим лямку в знак солидарности с мировой революцией и народническими заветами, перешедшими ко мне от отца с матерью, урожденных волжан, без конца поминавших Волгу как собственную молодость. К великому моему огорчению бурлацкий промысел, оказалось, с развитием пароходства вывелся на Руси, заставив меня, не откладывая, менять в уме профессию бурлака на тоже ответственную и тяжелую — шахтера, работающего под вечным давлением обвала, взрыва гремучих газов и подземных наводнений. . .) В действительности же с давних времен в народе

бурлак пользовался завидной, хотя и подозрительной славой "вольного молодца", в отличие от мужика-землепашца. В бурлаки уходили не только от нужды, с тем чтобы прокормиться, но и ради, прежде всего, бродячего, разгульного, "бурлацкого" образа жизни, порывая с деревенской оседлостью и семейной кабалой. В русском употреблении "бурлак" — иносказательно — шатун, бродяга, неженатый, бездомный, буйный, своевольный и грубый человек. Солоно им приходилось. Но бредя вдоль по Волге и падая, иной раз, от усталости лицом в горячий песок, бурлаки в подкрепление богатырской амбиции, в дружное, яростное натяжение каната, а еще пуще на привалах, у костра, — пели. Пускай ничего особенного не содержалось в этом вытье, кроме распорядка дня, что вот, дескать, идут они по Волге, и тянут баржу, и поют сиплыи голосами. Но в том-то и все дело.

*Мы по бережку идем,
Песню звонкую поем:
— Ай-да-да айда, ай-да-да айда, —
Песню звонкую поем. . .*

Все дело в песне, в реке, которая сулит свободу, куда они держатся за нее, как за веревку, и тянутся вверх по ней, параллельно, по бережку. И от грозного "айда" содрогаются облака.

Еще более подняли Волгу в глазах народа разбойники, воры, бунтовщики, под началом Стеньки Разина промышлявшие по ее берегам. Гуляли, жгли, насиловали, вешали, освобождали и, пируя на Волге, грозили кулаком Москве.

*Мы веслом махнем — корабль возьмем,
Кистенем махнем — караван собьем,
Мы рукой махнем — девицу возьмем.*

Как истинно народный герой Разин, во славу царя, развязал стихию реки, и она восстала. Чтобы она не опускалась до мелких, эгоистических нужд сограждан, Разин — в виде древнего, языческого жертвоприношения реке —

вверг в волны драгоценную пленницу, персиянскую княжну. Эту революционную акцию русский народ главным образом и запомнил из его подвигов и воспевает с восторгом до сего дня, как распорядился Стенька Разин прекрасной персиянкой, ради общей пользы: знай наших! Нам грустно думать о бедной царевне, пока не догадаемся, что туда ей и дорога, на дно, к русалкам, в отечественные Лорелеи, в поддержание великой реки. Пушай поет!

В итоге разбойник настолько породнился с волжской водой, что не раз она его из беды выручала, согласно старым преданиям. В Астрахани, говорят, заперли Стеньку в железную клетку, три дня по городу возили, голодом морили, а он попросил у стражи ковшик воды напиться, той водой окатился *"и на Волге очутился"* - астраханского воеводу с башни сбросил, *"его маленьких деток всех за ноги повесил"*.

Или — другой вариант: *"Бывало его засады в острог. Хорошо. Приводят Стеньку в острог. "Здорово, братцы", крикнет он колодникам. "Здравствуй, батюшка наш, Степан Тимофеевич! . ." А его уже все знали! . ." "Что здесь засиделись? На волю пора выбираться. . ." — "Да как выберешься? . . — говорят колодники, — сами собой не выберемся, разве твоими мудростями!" — "А моими мудростями, так, пожалуй, и моими! . ." Полежит так, маленько отдохнет, встанет. . . "Дай, — скажет, — уголь! . ." Возьмет этот уголь, напишет тем углем на стене лодку, насажает в ту лодку колодников, плеснет водой: река разольется от острога до самой Волги; Стенька с молодцами грянут песни — да на Волгу! . . Ну и поминай как звали!"*

Подобное в магии вызывается подобным. Нарисованная лодка — плывет. Как же не грезить нам, не стонать о Волге, о воле, даже и не видав никогда? Мой лучший лагерный друг, бывший урка, жизнь сгубивший в застенках, чистой души человек, рассказывал, как везли его однажды в вагонзаке грохочущим железнодорожным мостом через Волгу — ни щелки, по возгласам конvoja учуял под голубым небом широкую голубую воду, умолил охранника, остаток арестантской пайки искрошив. . . "Как Стенька Разин, что ли? Не видала ты подарка?" — "Да нет! Рыбкам.

Ведь Волга же! Впервые в жизни! Матушка! . . ." А сам чуть не плачет. . .

Увы, ту настоящую Волгу, о которой поется, я, повзрослев, уже не застал. Обмелела, облысела, завшивела кормилица. На все знаменитые Жигули несет густым паром нефти. Вышки. Лишь по радио, которое не выключают на пароходе, для пассажиров, во всю ширь:

*Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны. . .*



Родину русских рек лучше искать на Севере. Там, где иным путем не пройти, не проехать, только — водой. Деревни — редко. И все — по рекам. А города. . . Какие там города? Печора, Мезень, Двина, Пинега, Онега. . . За десять лет, до ареста, по тем артериям, крадучись, в поисках святой старины, истоков, традиций, мы вдвоем с женой, на лодках, на плотах, на попутной цистерне, наплавались и насмотрелись чудес.

Не стану, однако, морочить голову нетронуть — красотами этих еще густых и обильных вод и лесов. Северные реки похожи на деревья, вырв —ые из грунта, вставшие дыбом, вверх корнями, на темени старухи-России. Да где-нибудь за кормой, на волнах, амебы, как всегда, перекачивают светлую протоплазму. Розовые лужи, прорезанные черной осокой. Так бывает, когда бреешься. Если безопасную бритву макать для очистки совести. В стакане плавают щетинки, волосики, трава.

Должен сознаться, ландшафт поначалу не очень-то меня ободрял. Уж больно на передвижников смахивает. И березки, и сосенки — точь-в-точь, и синие дали. А эта самая задумчивость русской природы так повсюду и разлига. А чтобы там Ван-Гог или какой-нибудь Кандинский так это — ни-ни!.. Слава Богу, догадался и глянул вверх. Обомлел, воспрянул. Нет, шалишь, просчит —сь голубчики-передвижники, ошиблись, недоучли. Там было небо, небо — в упор, мордой — в морду. Непричесанное, как мамонт, оно

было таким большим, что хотелось упасть. Кувырнуться б назад, выгнуть спину и, касаясь затылком земли, закатить глаза под самое под небо. Чтобы хоть белками, вывернутыми наизнанку, дотянуться до края...

Ну а соборы, вы спросите, эти белые свечи на речках? Как же, как же! За тем и ехали. Они — как птицы. Не в том смысле, что летают, а в том смысле, что пьют. Вытянув шеи и клювы. Здрава пернатые головы. Самозабвенно. Как гуси.

Вблизи убеждаемся: храм — это Дом, в особенности когда деревянный. Как всякий дом, он начинается с Дна. Потом на тот упор грохают короб — О! И острым углом, шатром — под облака — Макушка. Этакий исполин высится верст за тридцать. Пускай он укрыт от зрителя забором непроходимых лесов. Внезапный, как выстрел в кустах, в плетях и в попыхах, — он появляется вдруг, разом и навсегда. И не успел возникнуть, как, расвирепев, нахрапом, прет через валежник, лезет напролом, сквозь чащобу, пока не протолкается на пригорок, не отряхнет иглы и не подомнет округу копною взгромоздившегося бревна...

Что стены, что шатер — одним топором рублены. В те доисторические времена не ведали ни пил, ни гвоздей. Только, рассказывают, сорвался как-то богатырь-плотник с вершинки, и вот уж падает, и вот уж летит, и вот-вот совсем насмерть убьется. Но помолился, падая, богатырь-плотник, вытянул топор из-за пояса, поплевал на ладони, прирился и, все еще падая — вышотища-то какая! — как тяпнет! Впилился, кормилец, в бревно по самое топорщице, а наш уже болтается на одной руке, целый-невредимый; другой, свободной рукой, знай себе открешивается, нечистую силу отгоняет... Не люди были — слоны!..

Ныне там — клубы, конюшни. Да вместят! Но лично я предпочитаю, когда в храме — склад. Это — надежно, добротно. И груз чтоб солидный. Зерно. Цемент. Бензин. Мазут. На то и храм, чтоб — хранить. Ободранное будто артобстрелом, с провалившимся теменем и обкусанной луковичей, оно живо еще, покинутое стойло Господне, засыпанное гниющим овсом и иконной шелухой. Хуже, если церковь пустует... Молодой тракторист, скаля чудесные зубы, хвастался перед нами, как развалил прошлым летом часовенку,

проезжая мимо на тракторе. Зацепил стальным тросом. Двинул в сто лошадиных сил. И с копыт! Старье...

— Как вы могли? — ужасаюсь. — Ведь это была на всю Двину драгоценность! Про нее за границей знают. В книжках написано. В справочниках числится. Кому мешала? . .

— А чо она стоит? — отвечает. И скалится добродушной белозубой улыбкой богатырь-тракторист. . .

Очистительная гроза, сметавшая вековые устои во имя великих свершений, докатилась сюда с опозданием, где лет на пять, где на десять, на пятнадцать, на тридцать растягиваясь, и память о ней еще не зарубцевалась в народе. Не заезжие комиссары, а местные грамотеи скидывали кресты, колокола, оклады — в металлолом, на развитие тяжелой промышленности. Как яблони, отрясали резные, развесистые иконостасы. И плыли вниз по течению, в Ледовитый океан, разжалованные святые угодники. Разве что жестоковыйный кощей со своей старухой, воровато озираясь, выловят на рассвете прибившиеся к берегу доски и припрячут на чердаке до Страшного Суда. . .

Стараясь дышать ртом, мы вступаем под своды. Ходячие идеи обступили нас, идеи в личинах — удлинненные, как жирафы, лаконичные, как пять пальцев. Идея зверя пожирает идею грешника. Идея Троицы восседает за идеей Стола.

Дальше нам не проникнуть. Не постичь древнюю фреску. Восторгаемся:

— *Quel coloris, quelle composition!*

Мы любимся, а они молились. Они молились — и в этом вся разница. . .

Где только не испражняется русский человек! На улице, в подворотне, в сквере, в телефонной будке, в подъезде. Есть какая-то запятая в причудливой нашей натуре, толкающая пренебрегать удобствами цивилизации и непринужденно, весело справлять свои нужды, невзирая на страх быть застигнутым с поличным, — в парке, в бане, в кинотеатре, на подножке трамвая. . . Однако ничто у нас на Руси так не загажено, как "памятники народного зодчества", охраняемые властями от церковного беззакония — до особых распоряжений. Пустынное место, что ли, располагает к интимности? Что же еще делать в пустоте одинокому челове-

ку? Скинет штаны, почувствует себя на минуту Вольтером и — бежать. И не просто дурь или дикость. Напротив. Чувствуется упорная воля в борьбе с врагом и наша страсть к доказательству, на практике, что материя первична, а человеческий разум — бесстрашен. Любит, ох, и любит же риск русская удалая душа. И сколько тут смелой выдумки, неистощимой изобретательности! В соборе XIII-го столетия мне посчастливилось обнаружить кокетливый след одного правдоискателя, оставившего аккуратную кучку под самым куполом, на головокружительной балке, перекинутой с угла на угол: ведь костей не соберешь... Какую идею фикс и решимость нужно держать за поясом, чтобы туда забраться, балансируя, рискуя жизнью?..

Ну а кто похозяйственнее, посмекалистее из наших мужичков-атеистов, тот имел натуральную прибыль с культурной революции. Хорошо, говорят, растоплять самовар сухой иконописной лучиной. Как пароходы, дымятся сигарки, свернутые из деяний апостольских. Точно поповская риза, горит на девке жакет в золотом шитье. Солнцем лоснится пузатая люстра над широким столом, раскачиваясь, словно кадило. А всего интереснее полы в баньке — в сияниях, в ангельских крыльшках. Не занозишься, не провалишься, хоть пляши под березовым венником, ошпаривай кипятком нежную, румяную душу...

Слушаю вполуха — в северной просторной избе, шуршащей тараканами. Мистика. Шуршат незримые тараканы под отставшими цветными обоями, а мнится, это по крыше барабанит дождь. В оконце же — ясный день...

А начальство — все недовольно. Досаждают начальству "памятники архитектуры". Сколько зря кирпича пропадает! Дров сколько можно заготовить! Коровники поставить!

— Да у вас дров, — говорю, — вокруг... Моря! Леса!..

— То — казенное, — возражает. — На экспорт. А тут и транспорта не надо. Все под рукой. Дали б только санкцию из Архангельска. Мы бы мигом...

Словно ревизор-Хлестаков: — Ни в коем случае! — кричу. — Художественная ценность! Охраняется Государством! Вот увидите, через десять лет к вам экскурсии потекут... Теплоходами... Иностранные туристы... Валюты...

Усмехается начальство: — Нельзя сюда иностранцев пускать!

— Почему нельзя? Красота-то какая! . .

— Закусывать чем будете вашу красоту? Спирт натуральный — это да! — пьем. Бесперебойно. По льготе. Как за полярным кругом. А где закуска?.. И — снабжение?.. Водой... Вот нам, уважаемый, забросили по весне женские, извините, насисьники. "Бюстгальтеры" — называются. Ну, в Москве, конечно, вы — и вид —. Два ящика одних "бюстгальтеров". А наши бабы отродясь эти штуки не нашивали. Ругаются. Что это? — детские шапочки? Почему — попарно? Мужики — образованные. Смеются. Налетай, расхватавай, девки! Щупать будем!..

И возвращается вспять упрямой партийной мыслью работник, чтобы снести, значит, под корень, до основания, идеологически невыдержанную архитектурную херню. Чего стоит? Только вид портит... Нам туристы без надобности. Народу — заблуждение... "Ах, ах! церковка!.." Вся зараза отсюда... С пропагандой у нас — минус... По атеистической пропаганде график не выполняем!.. Что вы сами не знаете? . .

Знаю. Имел удовольствие. Наблюдал. Соберутся бабы постарше — пять-семь женщин — на почтительном расстоянии от запертого на железный засов, опечатанного до скончания века, обезвреженного храма. И молятся — на стены. Господь, говорят, и сквозь стены видит. . .

Заслышав, что мы из Москвы, — с челобитной. Везде одно и то же: "— Вы не нашу ли церковь открывать приехали?" — Будто у нас права что-то открывать, закрывать. . .

Как-то раз, где-то на Мезени уже, боевая старушка спрашивает, поглядывая на мою, тогда еще сравнительно молодую бороду:

— А тебя архиерей сюда прислал, али коммунисты?

Сколько юмора! Пытаюсь объяснить, что нет, дескать, ни архиерей, ни коммунисты нас не посылали. Мы — сами по себе. На лодке. По живому еще прошлому. История. . . Искусство. . .

— Ты прямо сказывай, — не отступает бабка, — архиерей тебя прислал? али коммунисты?

И вдруг, стихнув, отводит в сторону, будто я — от

архиерея. Выясняется, она крестит младенцев. Не запрещено ли женщине, по уставу? Не грех ли это великий? Да и будут ли дети крещеными, коли — бабьей-то, неблагоприятной и неграмотной рукой? Знамо дело, нужен поп. Да где взять попа? Ближайшая действующая церковь — в Архангельске, парень. Трое суток морем, а сколько рекой промаешься? И денег на билеты никаких не хватит. . .

— Так — как решаешь? Дозволяется бабе? Ну молитвы кое-какие еще помню. Крест окуну в корыто. . . Что ж теперь — всем без креста ходить?

Растерянный, я не знал, куда деваться от ее глаз, внимательно ожидающих последнего, как от архиерея, решения. Я — не уполномочен. В церковных правилах — профан. Слаб в писании. Неможен в вере. Женщина в роли священника? Ересь! Но с другой стороны, дети ведь рождаются и рождаются. . . Куда их девать? Или свету конец? Эх, была — не была!

— Крести, — говорю, — как умеешь. Рассуждаю своим умом — не от Бога, не по уставу. Крести их, бабка, — в корыте, — если негде и некому больше крестить. . .

А что мне, прикажете, было тогда отвечать? . .

Новая беда — плывешь по реке, идешь по тропке и знаешь, точно знаешь, по карте! — вот сейчас, за поворотом, она покажется, красавица, шатровая, XVII-й век, и в хорошей, предупреждали, сохр—ости, даже иконостас уцелел и книг старопечатных навалом, а ее все нет и нет. Вот и деревня, когда-то, видать, богатая, с громадными, будто слоны возили бревна, домами. Неужто ошиблись? Где церковь? Сгорела наша заступница. Когда? Тем летом. Кто-нибудь поджег? . . Поджоги церквей, по пьянке, из просветительских целей — здесь не в редкость. Виновника не наказывают. Попробовал бы он поджечь стожок сена — засудили бы, как за террор. . . Нет, у нас народ смиренный, никто не поджигал. Стрелой сразило. Какой еще стрелой? Гроза была. На Ильин день. Пророк Илья стрелял с огненной своей колесницы. Зачем ему стрелять по церквам? Значит, Богу угодно. За грехи наши. В один час, как лучинка, преставилась наша матушка. . . Кроме нее, что-нибудь сгорело в деревне? Бог миловал. А пробовали тушить? Кто ж ее будет тушить, сердешную? Кому она нужна? Да и высо-

тища какая! Не дотянешься. Она, болезная, у нас на всю Пинегу славилась. Господь прибрал. Что ей тут было без дела стоять, под замком, без пенья, без ладана. Кого дожидаться? Антихриста? Вознеслась голубушка. Теперь в ней угодники служат. У Бога, на небе. . .

И впрямь, по старым повериям, спаленные молнией церкви переносятся в Царство Небесное. Слишком они хороши, видать, для нас грешных. Сколько их там собралось теперь, сожженных, взорванных! Небесные реки уставлены русскими храмами. А земные берега, год от года, скудеют. . .

...Кто это сказал, будто нельзя дважды ступить в одну и ту же реку? Как это нельзя? Лежишь себе на дощанике, на плоту, на плаву, щекой у самой воды, и слышишь в полусне, как струится у тебя голова и сквозь черепную коробку, через все твое пологое тело, протекает река, оставаясь неизменно все той же рекой, а тебя нет давным-давно и не надо. Блаженно лежишь, струишься. Как если бы в вечность вливалось время жизни и не пропадало бы там, а ширилось беспредельно, в своей полной протяженности. Будущее уже началось, не отменяя утраченного. Всё впереди. И то, что было, и то, что потом откроется, расположены рядом, на одной плоскости, — нет, пересекаются в точке, где ты растекаешься. И, может быть, в результате мы вовсе не умрем, но придем в себя, соединимся, опомнимся, вернемся в собственный образ нашего нахождения в вечности. . .

...Где-нибудь, в середине пути, — первый город. Не важно, какого чина и фасона. Важно, что в стороне от железных дорог и варварских, продувных автострад. Нет асфальта. Мелодично скрипят и покачиваются, как палуба корабля, деревянные тротуары. Наличники, крылечки. Низенькие строения, пускай в два этажа, кажутся мельче сельских: пропорции уже испорчены. Все равно хорошо. На площади Ленина, возле "Доски почета", пасется лошадь.

Читаем с наслаждением вывески, встречные объявления. "*Социальная улица*". Не социалистическая, как обычно, а — "социальная". Это надо ценить, войдя в разум истории. . . "*Гармонная мастерская*". Поэтично звучит. Очевидно, ремонт гармошек не вполне еще отделился у них от первоначальной гармонии. . . "*Ателье фото-парикмахеров*". Почему они сопряжены в одну "ателье" — парикмахеры и

фотографы? Что между ними общего? Что в городе — сперва стригутся, красиво причесываются, завиваются, а следом, с ходу, — симпатичная фотокарточка? А ведь так и надо, господа! И правильно! Услужливо. Как при царском режиме... В местном музее — ке, на стенде, извиняющееся перед кем-то, туманное резюме: *"Каких-либо массовых восстаний крестьян в XVI в. не было, но проявления борьбы против гнета имели место"*. Рядом, по контрасту, из папы-маше: *"Интерьер квартиры колхозника К-ского района"*. И здесь же, подле чучела рыси, убитой Онежским охотником в 1923 г., именной список передовых колхозов: *"Просвет", "Ударница", "Красный Пахарь", "На страже", "Молотобоец", "Победитель"...*

В том "Молотобойце", помнится, мы пытались купить молока. Куда ни заглянем, отказ. Либо — нет скотины. Либо: "— Да что вы, родимые! Мы одну ногу кормим..." Озадачены метафорой. Терпеливо разъясняют: одна корова — на четыре многодетных семьи...

И все же советская власть рисовалась в этих гиблых местах более патриархальной, смягченной. Мнилось, она вот-вот растает в мареве провинциальной идиллии. За городской Поликлиникой, на пыльной дороге, грядка тоненьких саженцев, с надписью на заботливом столбике: *"Привязывать лошадей к оgrade бульвара строго воспрещается. Коновязь находится на Советской набережной (против аптеки)"*. А где ограда? Где набережная? . .

Иногда, редко-редко, пожелтевшая афиша годичной, может быть, давности. Мелькнет вдруг что-то знакомое в глаза, но почему-то удивительное, экзотическое, так что жаль упущенной встречи с такими же, как мы, путешественниками. *"Впервые в городе черная пантера"*. *"Группа крокодилов с детенышем"*. *"Знаменитые эквилибристы — братья Французовы"*. . . Какая, однако ж, прекрасная фамилия у русского циркача — Французов! Нарочитая, придуманная для цирка — не во Франции, в России — Французов! Кто ухарь-купец, кто Илья Муромец, Васька Буслаев, Гаргантюа и Пантагрюэль? — Французов. Невозможно представить русский цирк, лучший в мире, без твоих упитанных бицепсов, нафабранных усов и румянца во всю щеку, — Французов! Без элегантного нахальства и щегольства, шель-

мованного и немного шального, но с достоинством и благородством! — Французов. . .

— Сюда бы еще, — говорю, разнежившись, — Индийского факира, гастролирующего по отдаленным губерниям, и какую-нибудь американскую Женщину-змею, проездом из Екатеринбурга в Ростов. . .

— А вы, гражданин, откуда? Не из Америки? . .

Оборачиваюсь. Подвыпивший, начальственного вида мужик задумчиво рассматривает мои рваные "кеды". В то время и в той стороне, необходимо оговориться, столичные "кеды" были в диковинку и привлекали внимание местных следопытов, оставляя на мягкой земле четкий дактилоскопический отпечаток, вроде "Виллиса" или "Джипа".

— Вы не американцы случайно? — И, не дожидаясь ответа: — А ну, предъяви документы, быстро! . . Эй, Михеич, сюда! . .

Появился еще какой-то лохматый детина, тоже навеселе, с медалью "За отвагу" на лацкане пиджака. Мы заспорили. . . Короче, в исполкоме, после проверки наших заправских бумаг, которыми рекомендую обзавестись каждому для дальних странствий, всё образовалось. Эпитеты "московский", "институт", "союз", "с целью научного изучения и фотофиксации памятников" — действуют магически.

— Кто ж их знал, что они из Москвы? — оправдывался сконфуженный и трезвеющий на глазах доброхот. — А может, их на самолете сбросили? . . Со шпионским заданием. . . на парашютах? . . Они, Иван Иванович, колокольню фотографировали! . . — Исполкомовец лишь яростно зыркнул на него, и тот осекся. Но я не выдержал:

— Какие, к черту, шпионы? Кому в Америке нужен ваш обездоленный, пустой городок? Что у вас — военные базы? Атомная станция? Запретная зона? Индустрия? Мосты? . .

Меня душила обида за поруганную мечту о северной первобытной невинности, о девстве их реках, о русском захолустье, о народе, который действительно здесь, как нигде в России, открыт, доверчив, гостеприимен, приветлив, когда бы и в эту дыру и проникла эпидемия самоубийственной бдительности. . .

— Какой секретный объект в вашей несчастной колокольне . . . надцатого столетия? И та — полуразвалина. . . Какой смысл? . . .

Тут мой исполкомовец, Иван Иванович, смотрю, приосанился. Одернул китель. Обиделся, должно быть, за свой город, за щербатую колокольню. С мягкой укоризной воздвиг торжественный перст:

— Какой смысл? — *Ориентир!* . . .



...Вниз по Мезени мы плыли всю белую ночь напролет. Расстояния колоссальные (до ближайшего населенного пункта верст восемьдесят) и, пользуясь летним северным освещением, мы экономили время, пустив байдарку на волю волн, по течению. Казалось, сияющий вечер все еще продолжается, тогда как, судя по часам, перевалило далеко за полночь. Небо горело нездешним, смутным блеском. Река сверкала. Я едва подгробал, выравнивая ладью, только чтобы она не наткнулась на какую-нибудь водяную корягу или внезапный, на острых камнях, пережат. Жена спала, закутавшись в ватник. Круглосуточный путь, длительная белесоватая мгла, не похожая ни на день, ни на темень, ее доконали. Тогда-то, уже под утро, мне довелось не то, чтобы видеть, но слышать и осязать Водяного. Не скажу, что это забавно или интересно. Крайне странное, острое, неприятное, мистически неприятное, в силу правдоподобия, чувство. Но поясню, в двух словах, кто такой Водяной. . .

В отличие от Домового (хозяина дома), Лешего (хозяина леса), Водяной — хозяин реки, либо какого-то ее завитка, притока, омота, озера. Как более устойчивую в народном сознании нечистую тварь, нежели русалка, его путают с последней. По свидетельству этнографов, в конце прошлого века жители Новгородской губернии наблюдали Водяного в образе *"голой бабы, которая, сидя на коряге, расчесывала гребнем волосы, из которых бежала неудержимую струю вода"* (С.В. Максимов. Нечистая, неведомая

и крестная сила. СПб., 1913). Но это явное не то. Водяной, как правило, старик омерзительного вида, с зеленой, склизкой, как тина, бородой, одутловатым брюхом и опухшим от беспробудного пьянства лицом. Рогатый. По градации зла, он хуже Лешего, уж не говоря о Домовом. "Домовой тешится, Леший заводит, а Водяной топит", — гласит идиома. Трупы утопленников, с царапинами, ссадинами и страшными кровоподтеками, — это его шутки. Но подобно женщине, он омолаживается всякий раз с новолунием. У него иногда замеч — длинные пальцы на ногах и перепонки на передних конечностях, подобно водоплавающим. Этими ут —ми лапами он имеет обыкновение, в особенно тихие ночи, громко хлопать по воде, наводя ужас на слушателя.

Так вот, точно такое хло —ье мне послышалось тогда впереди. Оно приближалось со страшной силой, как если бы какая-то взбеленившаяся обезья — бежала серединой реки по направлению к нашей байдарке, делая гигантские, кривые скачки на пружинистой, залубеневшей поверхности. Внезапно, порывом ветра в лицо, ударили клочья тумана; сбоку, с лесной протоки по-видимому, хлестнуло мокрым, пробирающим душу ознобом; и седой Оранг-Утанг пронесся мимо, метрах в пяти от нас, локальным ураганом, обдав сумасшедшим топотом и брызгами из-под ног. Возможно, впрочем, он бежал на руках. Вода кипела и пенилась у меня под веслом; я еле удерживал брезентовую лодчонку, чтобы мы не опрокинулись. Ни я, ни жена плавать не умеем, и потонуть было недолго. . .

Мне хочется, однако, в этой связи напомнить другой эпизод, широко известный, во множестве вариантов, собирателям народных преданий из быта Водяных, Домовых и прочей родственной нечисти, окружающей человека. Воспроизвожу дословно:

"Однажды ребятишки купались под мельницей; когда они уже стали одеваться, кто-то вынырнул из-под воды, закричал: "скажите дома, что Кузька помер" — и нырнул. Ребятишки пришли домой и повторили отцу в избе слова эти. Тогда вдруг кто-то с шумом и криком: ай, ай, ай, соскочил с печи и выбежал вон. Это был Домовой, а весть пришла ему о ком-то от Водяного" (Вл. Даль. О поверьях,

суевериях и предрассудках русского народа. СПб., 1880).

Комично — в первый момент. Нелепо. Пока не задумаемся: а кем же мог быть в действительности этот покойный Кузька? и кому он приходится родней? Не позднейшая ли это, вульгаризованная, омужиченная версия знаменитого рассказа Плутарха о событии I-го века? Кормчий корабля, шедшего из Пелопоннеса в Италию, в тишине моря услышал чей-то возглас: "Умер Великий Пан!" Этим кончилось, утверждают, язычество античного мира. . . Но кончилось ли оно на Руси? И хоть помер злосчастный Кузька в прошлом столетии, подобно Великому Пану, — дедушка Водяной, очевидно, кое-где еще колобродит. . .

Шлепые его широких подошв было столь достоверным, размашистым и полновесным, что жена в байдарке очнулась от сна и с удивлением спросила — что все это значит? откуда шум? . . Я подавленно молчал. Перед нами, в молочной воде, всходило парное солнце. Позади, вверх по реке, удалялась, раскатываясь по берегам, точно дурной хохот, ликующая, молодецкая поступь Водяного. . .

Вновь организованное издательство

«ВИВРИЗМ»

уже печатает выпуск

A

журнала русской литературы и искусства

МУЛЁТА

Стоимость выпуска 72 фр. фр.

Подписка на 4 выпуска 240 фр. фр.

Адрес издательства: 23, rue le Bua, 75020 Paris

ШУТОВСКОЙ ХОРОВОД

I

... Михаил Михайлович был в решительном непонимании:

— Не понимаю, решительно не понимаю!.. Медсестра, казалось бы, вполне разумная медсестра, и на вызов опаздывает в пределах разумного... Я ей книжку свою подарил, а то как-то, знаете, неловко: "Вы, — говорит, — говорят, писатель, так нельзя ли чего Вашего почитать?" Ну, я и подарил. Спрашивать, естественно, опасаюсь, и она, деликатная такая девушка, тоже мне в глаза смотреть избегает. Что ж, дело житейское, я не в претензии. Только третьего дни приносит она мне явно в назидание вот это —

И Михаил Михайлович потряс "вот этим", отчего градусник у него из положенного места, то есть из подмышки, вывалился, вдоль чего-то скользнул, куда-то завалился, Елена Александровна вскрикнула, один из присутствующих заподозрил пижамную штанину, второй нагнулся, близоручко обшаривая ближайший к Михаилу Михайловичу участок пола, — и градусник раздавил, третий из гостей упавшим голосом обобщил: "карнавал".

Гости смущались. Елена Александровна отчаивалась. Михаил же Михайлович с олимпийским спокойствием выдернул из коробки с надписью "Полуботинок мужской", как перун из колчана, очередной градусник, водворил на положенное место, то есть под мышку, и недоумевал дальше:

— Ну, ладно, медсестра... Узнаю, однако, от Вадим Валерьяныча, стало быть достоверно, что вся московская интел—енция *этим* зачитывается, меж тем как я и трети не осилил. Бульварная литература?! Ничего подобного! Она хоть и бульварная, а все-таки литература, и с большим обаянием, а вот это, — он снова хотел потрясти "вот этим", но Елена Александровна вцепилась в полосатый рукав, — это просто скучно. Очень скучно. Невообразимо скучно.

"Вот это очень скучное" — был новый роман Всеволода Кочетова "Что же ты хочешь?"

Так на моих глазах нач—сь расхождения М.М.Бахтина с действительностью, в течение нескольких предыдущих лет ему всецело подведомственной и подвластной.

В тот незабвенный вечер действительность была представлена: воеводским декабрьским закатом, палатой в подмосковной больнице санаторного ранга (тусклое электричество, толстое стекло в полстены, в стекле — темно, за стеклом — светло от плотно заснеженного подворья с часовыми кремлевскими елочками по углам), двумя хорошо и широко известными именами прямо из русского дворянского романа — и мною, безымянной.

Один из носителей одного из имен (назовем его "А") давно уже был своим в бахтинском окружении, другого (назовем его "В" из-за двусмысленности "Б") в тот вечер ко двору представляли. Меня тоже.

(Имена опускаю не из боязни пр—нить вред их владельцам, но ввиду субъективных качеств самого воспоминания, почему-то дающего перебой в изображении и цвете, как дефектная киноплёнка. Полагаю, из-за волнения: Бахтин все-таки, единственный на мою жизнь живой гений Оттуда!..)

Меж тем, пока я здесь оправдываюсь, в тамошнем небе произошло короткое замыкание: закат пыхнул и погас. Елена Александровна свернулась в углу и вздыхает недоброжелательно. Заглянула медсестра, должно быть та самая, кочетовская, проверила градусник, осудила: "Опять нормальная" — и вышла. Все помолч—, и тогда М.М., откашлявшись, поздравил В. с блистательной статьей о Тойнби.

— Но я никогда не писал статьи о Тойнби! — в ужасе

вскричал В., обращаясь почему-то к Елене Александровне. И не ошибся.

— Вечно ты, Мишенька, все напутаешь, — прошипела она. — ...ов ...ович написал статью о Шпенглере, в которой упомянул Тойнби.

А. счастливо захохотал, а М.М. поздравил В. с блистательной статьей о Шпенглере.

— ... ев ... евич, — строго позвала Елена Александровна, — подите сюда, Вы неприличны.

— Абек плезир, — живо откликнулся А. и примостился рядышком с Еленой Александровной. Помолчали. В. откашлялся и спросил у Михаила Михайловича, что он думает о Бубере.

О Бубере Михаил Михайлович думает, что он — Бубер — величайший философ XX века, а, может быть, в этом философски хилом столетии вообще единственный философ. Потому что не следует путать философию с двумя иными, чуждыми ей жанрами умственной апатии — мудростью и размышлением, а философа — с носителями этих жанров: мудрецом и мыслителем. Мудрецом, например, был Соократ, а из современников — Пахомыч, ночной сторож плодовоощного совхоза. С Пахомычем М.М. познакомился в бытность свою счетоводом в том же совхозе. Что касается мыслителя, — данный тип ярко представлен господами Бердяевым, Шестовым, а также Ж.П. Сартром. Мудрец знает истину, мыслитель же вопрошает: что она есть? И вообще — размышляет. О том, о сем... Верить — не верить, а если верить, — то зачем? Или о Достоевском. Вообще — о литературе. Мыслители любят размышлять о литературе. А философия — это, видите ли, особая область человеческого знания. Знания, да. Как математика. Не "подобно" или "сходно", но — "как"... Со своим особым языком и традицией, в то время как мудрецы и мыслители пользуются общедоступным языком и в традиции не нуждаются. А Бубер — философ. И я ему многим обязан. Идеей диалога, в частности. Что, впрочем, очевидно каждому, читавшему Бубера...

Тут В., проявляя признаки сильного душевного волнения, вскопчил и так сказал:

— Михаил Михайлович! Вы сейчас одарили меня та-

ким счастьем, о котором я не смел. Бубер для меня — все. И Вы для меня — все. И вот вы, вы сами сейчас объединили себя с ним. О..! Простите! Простите мне мою нелепую взволнованность! Я знаю, что я инфантилен, точнее — патетичен. Я не имею жеста. Я имею жест всегда противоположный. Вот и в "Вопросах литературы" мне говорят, чтобы я писал все то же самое, но с оттенком юмора. А я не умею с оттенком... И вообразите, вообразите мое отчаяние, когда однажды и даже не так давно, еще не имея чести быть вам представленным, я осмелился спросить у Вадим Валерьяныча, как человека вам близкого, мнение ваше о Бубере, и — вообразите! — он ничего мне не ответил, но посмотрел на меня так, будто я издал в обществе неприличный звук. Из чего я заключил, что вы... что Бубер и вы... И вот — такое счастливое разрешение!..

— Успокойтесь, успокойтесь, голубчик, — благодушно отвечал ему Михаил Михайлович, растерянно, однако, взглядывая на Елену Александровну. — Вадим Валерьяныч умнейший, милейший человек, но — антисемит. Разумеется, мое отношение к Буберу он знает, но скрывает. Да, он антисемит, а я — неокантианец. С поправкой на феноменологию Гуссерля.

Вообще, замечу, в приватной речи (а не жизни, которой не знаю), М.М. был человек благосклонный к чужому юмору, но не слишком склонный к собственному. В этом отношении он больше напоминал свой литературный стиль, чем свои концепции. На свои же концепции он походил, примерно, как Гегель на триаду или Эйнштейн — на квадрат скорости света. В слове Михаил Михайлович был серьезен и риторичен, в жесте — учителен и мудр. Скажу, наконец, без утайки: отрицавший истину в последней инстанции, он сам и был истиной. Не потому, что истина ему открылась или он ее открыл, но потому, что он ее создал. Свет истины исходил от Бахтина и, как всякий носитель истинного света, он был просветитель.

Правда, в оставшуюся часть вечера Михаил Михайлович не столько просвещал, сколько светился: от радости. Великое дело любви свершалось меж ним и В. Говорили они больше об общих знакомых, и каждый раз, когда говорил один, в глазах другого вспыхивал радостный блеск, и

улыбка счастья изгибала губы: ... в сущности, Вагнер глубоко женствен — вы помните это его смешное пристрастие к своим фотографиям? — а берет! — а шарф через плечо? — Воображаю, как раздражался Ницше, всегда мужественный и неизменно сдержанный, хотя, между нами, после разрыва с Вагнером он мог бы найти себе партию получше, чем Бизе, о, разумеется, "Кармен" превосходная, только не опера а — оперетта, а Томас Манн так и не совладал с Ницше, и "Доктор Фаустус" — худший его роман, растянуть на полкини детство героя... , а потом оказывается, что он не герой вовсе, а хилый субъект с развинченными нервами, к таким дьявол не заглядывает, но Булгаков написал уж слишком прекрасно, да, слишком, из-за чего возникает иллюзия, будто мир, им описанный, и вправду прекрасен, ха-ха...

Лишь пройденная присутствующими средняя школа воспитания поддерживала нас на этом пире чужого чувства и заставляла делать то, что от каждого требовалось и ожидалось:

А., в пику В.В. Кожинуву, наклепавшему на московскую интеллигенцию, сообщил о повальном ее увлечении Кьеркегором. Что отразилось в популярной частушке: "Из-за лесу, из-за гор едет дядя Кьеркегор";

Я рассказала хасидскую притчу, ярко рисующую свойственную хасидизму карнавализацию времени и пространства ("... И сотворил Господь чудо: везде была суббота, но там, где проезжал Рабинович — пятница");

Елена Александровна приказала Михаилу Михайловичу измерить *последнюю* (подчеркнуто ею — М.К.) вечернюю температуру;

Михаил Михайлович послушно сунул градусник в пиджамную пропасть; одобрил московскую интеллигенцию за то, что в нелегком выборе между Кочетовым и Кьеркегором она предпочла последнего; на примере хасидской притчи отвел от евреев обвинение в ритуальной серьезности;

но внешние признаки внимания не могли скрыть главного: он и В. чувствовали себя наедине в этой полной палате, а, может быть, и во всем мире.

Больше я Михаила Михайловича не видела, только

слуши, один другого печальнее, доходили: умерла Елена Александровна, Михаил Михайлович ложился в постель все чаще, подымался все реже. Во время одного из впечатляющих монологов В.В.Кожина устало обронил: "Оставьте евреев в покое, у них свои давние счеты с Богом" – и отвернулся к стене, скучая. Привязался к черному коту по имени Киссинджер, каковое имя дал самолично за упорную готовью приверженность к челночным рейсам меж дворовой помойкой и комнатной неоскудевающей миской. Однажды Киссинджер из очередного рейса не вернулся, после чего, будто бы, Михаил Михайлович произнес: "Ну, теперь моя очередь". И умер.

... Недавно я встретила с Бахтиным на Елисейских Полях: завернутый в галлимаровскую белую тогу, расширенную эпитафическим латинским шрифтом, он стоял на границе позднего Средневековья и раннего Ренессанса. Он заслужил и свет, и покой: последний приют Мастера – книжная полка.

А вот на прежней, земной его родине посмертное существование Бахтина, судя по всему, так же темно и беспокойно, как прижизненное.

II

... Михаил Михайлович Бахтин так долго, неутомимо и неутолимо занимался проблемами художественного слова, что сам в него превратился.

Я имею в виду не стиль его книг, но стиль его жизни, точнее – судьбы, увы, и уже завершенной, и по завершенности своей явившей черты кровного родства с его же творчеством. Что необычно: Бахтин – послушно признаю – ученый, а наука над своими тружениками не витает близнецом в тучах и не напрашивается к их жизни в сестры.

Иное в искусстве. Дар поэтический есть дар пророческий: изобразил дуэль – погибай на дуэли, швырнул героиню под колеса поезда – сам умри на железнодорожном полустанке, написал роман о великом романе – оказалось, написал великий роман...

Не кривой ли татарский ландшафт Казани подсказал Лобачевскому пересечь параллельные?

Почему Дизель шагнул за борт первого же корабля, на котором установили дизель?

Наука молчит: главное — был бы дизель хороший.

А что происходит от науки подальше, к литературе поближе? В философии, например? Какими душевными противоречиями терзался Кант прежде чем завещал миру антиномии? Подчинялась ли "закону отрицания отрицания" жизнь Гегеля? — Все та же мучительная неизвестность.

Пожалуй, только к Эйнштейну искусство тянется как к "социально близкому". Потому ли, что, подобно поэту, он сначала создал теорию относительности и только много лет спустя продемонстрировал ее на личном примере: еврей для немцев, немец для чехов и эмигрант для американцев?.. Или потому, что преломил вечный хлеб искусства — время и пространство?

Как бы то ни было, в своей родной научной семье Эйнштейн кажется чужим: наигрывал на скрипочке Моцарта и утверждал, что романы Достоевского вдохновляют его больше, чем труды и дни Гаусса.

Нет, положительно: общение с искусством для людей науки небезопасно и кое-что существенное в их гороскопе меняет.

М.М. Бахтин открыл "карнавал" и — напроорочил.

Это зрелищное мероприятие, как известно, снимает принудительный характер времени, необратимо текущего от прошлого к будущему, в силу чего жизнь М.М. карнавализовалась задолго до того, как само слово получило у него статус эстетической категории. В качестве доказательства рассмотрим сборник, посвященный 75-летию со дня рождения и 50-летию научно-педагогической деятельности Михаила Михайловича Бахтина. Как водится, — с портретом и "Кратким очерком жизни и деятельности", авторы "Очерка" — В.В. Кожин и С.С. Конкин. Издан сборник в 1973 году. Странность первая — вид: книга нетолстая, цвет — без цвета, вид — канцелярский: матерчатый корешок и не предназначенная к чтению бумага — внутри. Некоторые страницы сверху помечены зловещим клеймом: "УДК-92:308". Тюремная канцелярия? Бухгалтерские отчеты?.. Вторая странность — место издания: Саранск. Оно конечно: столица автономной Мордовии, но ведь Мордовия — страна

концлагерей, им-то, концлагерям, Саранск тоже столица!..

Отчего же в Саранске? — Оттого, — эпически сообщает "Очерк", — что "...проходили дни, месяцы, годы жизни М.М. Бахтина в столице Мордовии".

А до Мордовии? До Мордовии "М.М. Бахтин поселился на границе Сибири и Казахстана, в г. Кустанае", куда, в свою очередь, попал по счастливому стечению обстоятельств, ибо подлинное место его назначения было — Соловки: М.М. Бахтина "арестовали в 1929 году, но по какому из многочисленных "дел" ленинградской интеллигенции — неизвестно... хлопоты по делу Бахтина увенчались некоторым успехом — Соловки были заменены ссылкой в Казахстан". Эту биографическую подробность В.В. Кожин опускает в цезуру между абзацами, зато приводит другую — не менее драгоценную, и проливающую, возможно, некоторый свет на благополучный исход: дело в том, что среди своих предков М.М. Бахтин числил "поэта И.И. Бахтина, одного из основателей первого сибирского журнала "Иртыш, превращающийся в Ипокрену" (1789-1791)". Перед нами — типичное карнавальное переворачивание социального положения: предок жил в Сибири, потомок — в Петербурге, предок превращал Иртыш в Ипокрену, потомок попал в историю, последовательно превращавшую Ипокрену в Иртыш, в результате чего и оказался "на границе Сибири"... "Низ" — "верх" — и обратно...

Начало научно-педагогической деятельности в эпически-невозмутимой аранжировке "Краткого очерка" выглядит так:

"Окончив в 1918 г. университет, М.М. Бахтин поселяется в г. Невеле (ныне Великолукской обл.) и в течение двух лет работает преподавателем Единой трудовой школы. Вскоре его избирают председателем президиума школьного совета".

Необходимые уточнения: в г. Невеле М.М. Бахтин поселяется ввиду острой нехватки хлеба в г. Петербурге.

Кроме Единой трудовой школы, возглавляет городские литературно-художественные курсы, условия приема на которые поражают своей жесткостью:

"На курсы принимаются граждане обоего пола от 14 лет и безусловно грамотные";

принимает участие в популярных диспутах на метафизические темы, в частности — в диспуте под названием "Бог и социализм":

"После товарища Дайхмана выступает тов. Бахтин. Он в своей речи, защищающей этот намордник темноты — религию, витал где-то в области поднебесья и выше. Живых примеров из жизни истории и человечества в его речи не было. В известных местах своего слова он признавал и ценил социализм, но только плакал и беспокоился о том, что социализм совсем не заботится об умерших (не служит панихиды, что ли?) и что, мол, со временем народ не простит этого... В общем, слушая его слова, можно было подумать, что вот-вот подымется, воскреснет вся лежащая и истлевшая в гробах рать и сотрет с лица земли всех коммунистов и проводимый ими социализм.

Пятым выступал тов. Гутман. Он говорил долго и довольно осмысленно. Его речь была во многом ответом на поставленные вопросы предыдущим оратором Бахтиным... Смысл его речи, по-моему, был таков: мертвые не воскреснут и заботиться о них не нужно" (цитируется по сб. "Память", вып. 4, ИМКА, Париж, 1981, с. 274) — Невельская газета "Молот", 3 декабря 1918 года, № 47. Без подписи. Но разве нужна подпись под этим монологом думающего идиота? Кто способен надеть на религию метафору из "намордника" и "темноты"? Назвать поднебесье "областью"? Обесмыслить чужую речь наречием "осмысленно" и выразить философские сомнения персонажа глаголом "плакать"?

Конечно, Зоценко. Правда, к 1918 году Зоценко еще не только не поставил свой сказочный голос, но и вообще не печатался. Но это ничего: стало быть, стилистическая маска Зоценко так же существовала до писателя Зоценко, как карнавал-явление до "карнавала" — понятия, и в этом своем доличностном воплощении Зоценко идеально описал первый и важнейший принцип карнавала: нарушение иерархии, обмен социальными ролями, вследствие чего "лица, занимающие обычно низшее положение, приобретают ритуальную власть над теми, кто обычно занимает высшее положение, а эти последние добровольно претерпевают ритуальное унижение" (Вяч. Вс. Иванов, "К семиотической теории кар-

навала как инверсии двоичных противопоставлений". Труды по знаковым системам, VIII. Тарту, 1977, с. 45).

"Низ" — "верх" — "низ"...

Вероятно, кое-кому уже кажется, что "Краткий очерк" фактически недостоверен и стилистически неадекватен. Это не совсем так, вернее — совсем не так. Просто он требует контекста, в роли которого сейчас выступит сборник во всей полноте авторов и статей, в нем представленных. Объяв же эту полноту, мы убедимся, что несущая конструкция карнавальной архитектоники "верх" — "низ" поддерживает и это юбилейное сооружение, и что научному "увенчанию" Бахтина (статьи Ю.М. Лотмана, Вяч. Вс. Иванова, Д.С. Лихачева, В.Н. Топорова, С.С. Аверинцева) строго соответствует народно-площадное "развенчание": в сборнике помещена статья В.А. Старостина "Памятники народного песенного творчества — основа будущей русской поэзии".

"Иду — пою! По полям езжу, по колхозным председательским делам — пою!

... А когда наши ученые обращаются к своему народному стиху, то и его тщатся осмыслить западным смыслом, суетятся обрядить в облаченный ученый жаргон. А сами-то "ревнители" широты, сами-то "поборники" общечеловеческого крайнюю проявляют узость: они под "общечеловеческим" знают одно западноевропейское...

Кто велик самобытным величием для своего народа, тот будет велик и для всего человечества. А противное — ересь! Смешна... нет, презренна эта трусливая боязнь сузиться да захиреть в садах или кущах, или даже трущобах народной необычности. Лесная неизведанная трущоба пугает малодушных своей тайной. Но певец с прозреньем найдет в ней откровенье... И не грязь, и не сало, и не деготь, а неожиданную новизну обретет поэт-певец, он же и поэт-пророк, и потрясет ею, и увлечет, и раскроет глаза миллионам, и отверзнет уши целым народам и всему человечеству.

... Думается мне: тут через самоуглубление в свое простонародное детство должно сотвориться невиданное и небывалое песнетворческое величие. А от древнереческого оно должно отличаться высшим нравственным началом, а

тем и будет утверждено превосходство нашего общества над рабовладельческим.*

... Вечен народный смех. У старого Рабле он один, а у нынешней частушки — другой.

Но закон одинаков: *двоесильное да двуединое возвышение-снижение*. А открыл этот закон Михаил Михайлович Бахтин**. **

... Юбилейный сборник попал ко мне давно, а как — не помню: то ли кто-то подарил, то ли не вернула, в результате чего владею книгой со следами на полях ("sic!") и волнистыми подчеркиваниями в тексте. И только въехав во владения В.А. Старостина, мой предшественник порвал с лучшей из читательских традиций, растерялся и занервничал: "Черт-те что!!!" или "Да что он — нарочно?!", а к концу и вовсе обесловел и лишь вопросительно всхлипывал и восклицательно выражался.

С опозданием в города и годы спешу неизвестного успокоить: конечно, "нарочно", только не "он", а — они, авторы и составители сборника. Ведь юбилей — Бахтина, ведь книга — Бахтину; стало быть, — что? — карнавал!

А было так: трясущейся от смеха рукой Вяч. Вс. Иванов набрасывает строки о "трущобах народной необычности", подталкивая в бок их поклонника — В.В. Кожинова;

В.В.Кожинов, задыхаясь от сладкого злорадства, в это время ритуально унижает структуралистов, заменяя "инверсии двоичных представлений" народно-смеховой их версией: "двоесильное да двуединое возвышение-снижение";

Ю.М.Лотман из добрых чувств к В.В.Кожинову карнавалю юдофобствует: "И не в пример старым и новым притязателям на мировое господство, древние греки ни на какое богоизбранничество не притязали, но песню свою сложили хорошо";

В.Н.Топоров сосредоточенно выводит "четно и нечетнобойные законы" народной песни на примере народного

* Подчеркнуто мною ввиду крайней оригинальности мысли: почему "наше общество" должно превосходить именно рабское?

** Стр. 54-73.

же стиха "Ладушки, ладушки, где были? — У бабушки!"* Но тут, в приступе внезапной серьезности над ним склоняется Ю.М. Лотман, а, может быть, Вяч. Вс. Иванов, а, может быть, — никто и шепчет: "Это же хорей!" Но В.Н. Топоров сердито отмахивается и отписывается: "Слышу: это же хорей. Не знаю, откуда пригрезился хорей, ну, инда и допустим" (Там же, с. 63).

И только С.С. Аверинцев, трактующий карнавал исключительно как философему, безрадостно профанирует любимую эллинскую тему:

"Но будущая наша поэзия обязана учесть и древнегреческий опыт... Про Гомера не известно даже, когда он жил, иные, инда, и к мысли склоняются: не выдуман ли он?.."

Не верите. Считаете — бредни. Мол, не то это время и люди не те, чтобы так разыграться. А кто слышал когда-нибудь о В.А. Старостине, председателе колхоза, исследователе народного песнетворчества и бахтинианце?.. Он — не выдуман ли? Ну, иные, инда, допустим, видали и слышали — пусть... Но кто объяснит, каким образом этот образец белогорячечного бреда забрел в научный сборник? Можно ли представить темного человека, комментирующего Эразма Роттердамского? — Можно, поскольку "Письма темных людей" — литературная маска, карнавализованная литература. Вот я и говорю: "Памятники народного песенного творчества..." в юбилейном бахтинском сборнике — это памятник карнавалу, из карнавального же — пародийного — материала воздвигнутый. Тем более, что, как указывается в "Кратком очерке", "М.М. Бахтина ... очень интересовали люди "карнавального склада". Из людей этого склада, там же упомянутых, к 70-м годам никого в живых не осталось: даты их смерти располагаются между второй половиной 30-х и началом 40-х, одних (поэтов Клюева, Зубакина) поторопили, другие (писатель и поэт Вагинов, литературоведы Пумпянский, Волошинов) сами поторопились. Почти четверть века вокруг Бахтина ежился безрадостный, бескрасочный мир, ни "верха", ни "низа" — одна саранская низменность...

И вдруг все волшебным образом переменяется: из мордовской

* Стр. 63.

глубинки Бахтин возносятся к вершинам отечественной и мировой славы. "Проблемы поэтики Достоевского", опубликованные в 1929 году, усилиями В.В. Кожина переиздаются в 1963 г., после чего начинается второе рождение автора и первое – его идей. Вмиг, как будто ждала выхода за кулисами, появляется "школа Бахтина", набегают со всех сторон веселые молодые люди, вступающие в диалог друг с другом, историей и культурой; как только – усилиями Бахтина – Рабле и Достоевский обмакнули перья в одну чернильницу – карнавал начинают находить всюду: у Пушкина, Гоголя, у Ахматовой, Пастернака, Блока... История литературы откатывает свои тяжелые учебные воды и обнажает приветливое дно, усеянное драгоценными отложениями "памяти жанра". В "искатели жемчуга" подался даже К.Симонов: еще недавно городничьим окриком изгнавший "Двенадцать стульев" и "Золотого тельенка" (вот уж где куролесил карнавал!) из литературного присутствия, – сегодня он почтительно именуется выживший чудом роман Булгакова – "мениппеи" (завтра, то есть вчера, в конце 70-х годов, бахтинские шестидесятники-эмигранты назовут по старой памяти "мениппеи" сатирические памфлеты А.Зиновьева). Развеселившаяся история литературы вторгается в истории смежных искусств, а оттуда – в историю просто: в едином карнавальном порыве царствование Ивана Грозного сливается с одноименным фильмом Эйзенштейна, отчего русское средневековье сразу добирает недостающие баллы по европеизму. С оглядкой на Бахтина поставлен один из самых нашумевших фильмов конца тех же 60-х – "Андрей Рублев": русское язычество – "низ", византийское православие – "верх", между ними – народный смех в образе неунывающего скомороха – и все амбивалентно. Знакомый молодой историк пишет (не публикуют) работу, в которой доказал карнавальную природу восстания декабристов. Карнавальные моменты находят в истории евреев (Илья Рубин, "Карнавальный характер еврейской истории" – И.Рубин. Оглянись в слезах. Тель-Авив, 1978) и в истории собственной жизни (Л.Плющ, "На карнавале истории". Париж, 1975).

Одним достоевским словом – "увизжались"... Во-круг Бахтина сбиваются принципиальные методологичес-

кие (и во всем прочем) враги: структуралисты-западники и "органические" критики-русисты с равным энтузиазмом расхватывают бахтинский арсенал для укрепления противостоящих друг другу идейно-боевых позиций. А что значит, что в трудах Бахтина увидели не только науку, но и — учение, в нем самом — не только ученого, но — учителя. В смятенных умах современников философия культуры преиспустилась в философию жизни, "неокантианец с поправкой на феноменологию Гуссерля" преобразился в экзистенциалиста-наставника.

Горькое замечание Бердяева о том, что в России не было и нет идеологически нейтральной гуманитарной науки иллюстрировалась буквально.

Наблюдатель и участник той революционной ситуации, я свидетельствую: да, наше отношение к Бахтину не было бескорыстным, его и так напряженные тексты мы перенапрягли подтекстом, критику монологических форм художественного мышления воспринимали как отрицание монолитной идеологии вообще и занимающей нас (точнее — занимающейся нами) в частности; "Проблемы поэтики Достоевского" читали как роман: в Л.Н. Толстом, к примеру, угадывали аллгорию советской власти (что, по чести говоря, не такая уж натяжка, если иметь в виду структуру не политическую, но эстетическую с "народом", "доступностью" и "нравственной пользой" в качестве основополагающих категорий), в Достоевском — положительного героя (символ духовной свободы), а персонаж по имени "Полифонизм" выступал как аллегория "плюрализма" и "демократии". — Смешно? — Пожалуй, что смешно. Горько? — Горько. Но и ощущая на губах бердяевскую горечь, — скажу: в главном мы были правы. Свобода мысли с политической свободой связана нерасторжимо, причинно ли следственно, прямо ли, обратно или опасно, но — нерасторжимо. 60-м годам Бахтин даровал свободу интеллектуальной фантазии, — и вдруг стало видимо далеко во все концы света. Жест — царственный, дар — царский: могучая научная достоверность Бахтина обязывала к неотделимой от свободы ответственности. Доказательность есть нравственный императив разума, умственная бесчестность не искупается ни соблюдением житейской и религиозной морали, ни

призывами к ней. Как ни комичны попытки всю литературу организованными колоннами вывести на карнавальную площадь, — легкость, с которой литература поддавалась этому новому обряду, о чем-то говорит: Бахтин несомненно открыл некий первоэлемент искусства.

Карнавал — по Бахтину — уже не жизнь, еще не искусство, и, возможно, именно там, на пестрых карнавальных небесах, заключается тайный, но прочный союз искусства с действительностью — брак, который в других теориях держится лишь на грамматических свойствах союза "и". Этот выход бахтинской эстетики за пределы литературного, художественного мира позволил нам распоряжаться "карнавалом" по своему усмотрению — как философией жизни: "ведь надо же человеку, чтоб было куда пойти!" "Куда пойти?" предполагает "откуда выйти?" Отвечаю: из истории как навязанной необходимости. Обреченность человека на место и время рождения, на заключение в очередной конструктивный или деструктивный исторический этап — самый гнетущий вид несвободы, его не переспоришь, не обойдешь, революцией не отменишь, контрреволюцией не утвердишь...

Возможность "выйти" не освобождает от времени, места и "срока", но помогает их вынести. Культура, переходящая, как весть и знамя, от одной карнавальной площадки к другой, позволяет стать в особую позицию к своему времени — игровую, "на пуантах", сохранить дистанцию прыжком не к финишу, а — в сторону. Уточняю для подозрительных: я говорю о позиции сознания, а не о позиции личности и отвергаю их отождествление. Когда время переходит в наступление на личности, их — личностей — поведение непредсказуемо: поклонники карнавального отчуждения могут вести себя несгибаемо, а профессиональные моралисты — вспомнить, что мораль относительна, а собственная жизнь абсолютна...

Из бахтинской идеи мы не извлекали моральный кодекс — мы просто дышали подаренным воздухом свободы, и западный ветер прочищал наши отяжелевшие легкие...

Разумеется, отрезвление было неизбежно и должно было бы наступить именно там, где началось опьянение, — в сфере научной доказательности. К примеру, действитель-

но ли авторское сознание (и слово) Достоевского участвует в его романах на тех же правах, что слово и сознание героев?

Или: если "карнавал" обнаруживается у жителей Меланезии, в петербургском кабаке "Бродячая собака"* и в поэме Пастернака "Вакханалия"** — тут явно что-то не в порядке. Ключ, который подходит ко всем замкам, уже не ключ, а — отмычка. И значит: либо мы ломимся в открытые двери, либо это — налет. Действенность понятия (и метода) есть проблема ограничения его применимости. Короче говоря, на всякого Фрейда находится свой Юнг. Так оно бы и произошло в нормальной (культурной) культуре, когда "углубление собственных взглядов, как это всегда бывает, привело к серьезной осмысленной терпимости, основанной на уважении к мысли, к труду мысли, к личности носителей мысли" (из письма друга Бахтина Л.В. Пумпянского к их общему другу М.И. Кагану. 1926 год).

"... Как это всегда бывает..." — какой наивный оптимизм! Где — "бывает"? Когда — "всегда"? И — с кем?

По крайней мере, ни с самим Бахтиным, ни в культуре, на языке и для которой он работал, — так не произошло. То ли потому, что Бахтин и впрямь не великий ученый, а великий художник, образом главного своего героя — "Карнавала" — предопределивший собственную судьбу, то ли потому, что, наряду с меланезийцами и поэмой Пастернака, нынешняя русская культура должна быть признана "карнавализованной": вместо критики, "основанной на уважении к труду мысли", мы получили последнее карнавальное действо — убийство священного царя и сожжение чучела.

III

"... Критика Бахтина аморальна, безответственна..."
"Бахтин... вслед за некоторыми героями Достоевского проповедует — имморализм..."

"Философия, достойная Смердякова, приводит ученого к выводу, будто..."

* Вяч. Вс. Иванов. "Труды по знаковым системам". VIII, стр. 45.

** А. Якобсон — "Slavica Hierosolymitana", III.

После всей этой шигалевщины можно говорить уже что угодно, подменяя Достоевского истинного...

"Полифонический" Достоевский сотворен идеологом муравейника..."

Откуда эти цитаты? Из статьи "Наследники Смердякова", которой советский критик Зоя Кедрина откликнулась в "Литературной газете" на процесс Синявского и Даниэля? Или из какой-нибудь другой ее статьи тех же 60-х годов, когда переиздали "Проблемы поэтики Достоевского", но официальная судьба автора еще раскачивалась между "верхом" и "низом"?.. И литературная охранка привычно вцепилась в "чужого", не учуяв глохнущим обонянием некоторых перемен в идеологическом пейзаже? — Как бы не так! Это не З. Кедрина, а В. Дмитриев, не Госиздат-60, а Самиздат-80: рукописный ленинградский журнал "Церковь, культура, идеология", из которого другой орган вольного русского слова — эмигрантские "Грани" — статью Дмитриева взял и напечатал (В. Дмитриев "Идеология и формализм (К вопросу об идеализме Ф.М. Достоевского)" — "Грани, 1981, 121).

... Девяностый год со дня смерти Ф.М. Достоевского я отметила в Москве, в Политехническом музее. Обстановка была — соответственно юбилею — скандальная: зал перешептывался, пересчитывал стулья в президиуме, сверяя с афишкой, вертел головами, некоторые заглядывали за кулисы и все оглядывались на дверь, словно ждали запоздавшего виновника торжества. Чья-то неназванная, но вызывающая тень носилась по залу, шевелила страницы отчетных докладов и срывала торжественную панихиду то в именинные тосты, то в проработочные залпы. Жанровую двусмысленность происходящего подытожил один из докладчиков, прямо и яростно бросивший в публику, что, мол, отечественная критика до сих пор ничего конгениального романам Достоевского не сотворила. И так же прямо и яростно из публики крикнули: "А Бахтин?!.."

Учтя этот выкрик, журнал "Грани" поместил статью о Бахтине под рубрикой: "К столетию со дня смерти Ф.М. Достоевского" — и тем еще раз подтвердил, что Достоевский и Бахтин зарифмованы тесней, чем сердце и предсердие. В силу чего В. Дмитриеву уже не до осмотрительных

анализов, но приходится действовать хирургически: колоть правдой в глаза ("В чем же прямая реакционность Бахтина? От отлучил... самое мысль от жизни конкретного сознания"); рубить с плеча ("Достоевского Бахтин убрал точно так же, как Раскольников убрал старуху-процентщицу"); резать по живому: "Достоевский... создает не безгласных рабов... , а свободных людей, способных стать рядом со своим творцом, не соглашаясь с ним и даже восставать на него". Это — цитата из Бахтина, приведенная, но не оспоренная, а зарезанная Дмитриевым, как ученик на экзамене:

"Писатель создает героев, но никак не "людей"... , ибо подобный акт есть исключительно прерогатива Бога".

Бог Господь! Ну, разве не ясно, что в тексте Бахтина "свободные люди" и есть "герои, созданные писателем", и что пара "творец" (в смысле "писатель") и "человек" (в смысле "персонаж") не что иное как простейшая метафора? Бахтин не писал учебное пособие по производству "големов", чеховская Аркадина, желая польстить писателю Тригорину — "люди у тебя, как живые" — вовсе не намекает на то, что он втихоря занимается гальванизацией трупов и достиг на этом поприще немалых успехов.

А как быть с обыденной речью, упорно (и не без намека!) именующей художника — творцом, а его персонажа — человеком или "образом", а то и "подобием"?

И ведь не у одного Достоевского персонаж (человек) обладает известной свободой по отношению к автору (творцу)! Вот и Татьяна обвела Пушкина — сам признал — вокруг пальца: взяла и вышла замуж. Давайте же раз и навсегда покончим тяжбу искусства с действительностью путем простого изъятия искусства, ибо оно — как акт — есть исключительно прерогатива Бога"!

Логос, отпущенный мне, не обладает достаточной точностью и мощностью, чтобы распутаться с В. Дмитриевым, я ежестрочно застреваю в лишкx тенетах его условной изобразительности: "Романный мир Достоевского остается без мира, и при этом обязан чувствовать себя счастливым напоподобие гомункулюса, чье неприкрытое эпидермой тело обволакивается биологическим раствором".

Начинается статья безоружно — вопросом: "Не разре-

шим ли мы загадку стиля, если термином "культура" обозначим степень богатства идеологии?" Что прикажете делать? Вопить: "Нет! Не разрешим!"?! А после метаться между идеологией и культурой, затравленно убеждая встречаемых, что идеология — одно из проявлений культуры, но никто, никогда и нигде не выводил культуру из идеологии за дрожащую руку? (Впрочем, одно такое место, — где культуру выводят из идеологии, — я знаю, но в бытность мою там эту сиротскую догму еще не утверждали в самиздатских журналах).

И заканчивает статью Дмитриев вопросом, но уже не вкрадчивым и даже не риторическим, а — обличающим, то есть — в сущности — ответом: "... не в том ли популярность теории Бахтина, что нам легко и приятно чувствовать себя пауками, добровольно осудившими космос, едва виднеющийся сквозь мутные окна нашей бревенчатой вечности?" — Нет! — вскричу я. — Нет! Мне не легко и не приятно, и не за то я люблю Бахтина, и вечность моя не бревенчатая, и стекла у меня не мутные!.. А дальше что? Доказывать, что ты — не паук?

Для Дмитриева существенны не существительные (понятия, суждения), а прилагательные — осуждения.

"В мышлении Бахтина мы видим крайнее "бернардовское" проявление гуманизма... Всякое убеждение, не поднявшееся до Христа, ... есть убеждение "бернардовское", диалогичное, такое убеждение, в котором силен диавол, спорящий с Богом".

Дмитрий Карамазов, человек впечатлительный, не очень много, но страстно читавший, обзывал "Бернаром" своего недруга — семинариста Ракитина. Но зачем понадобился Бернар В. Дмитриеву в образе ругательного эпитета? При чем здесь Бернар? И кто он вообще такой, этот Бернар?

... Клод Бернар — человек роста непритязательного, не выше окружающих деревьев. Лицо имеет простое: умное. Выглядит на те свои 65 лет, когда перешел из времени в вечность, что случилось в 1878 году. Ни бронзовых подлокотников, ни жабо, — стоит в простой профессорской мантии из серого парижского камня и всматривается в окна своей лаборатории, что в первом этаже медицинского

факультета Сорбонны. Сегодня воскресенье, но за мутными лабораторными стеклами из угла в угол перемещаются пятна производственного света, как будто неугомонный профессор, отпустив себя, каменного, подышать воздухом, себя, живого, оставил навсегда с подслеповатой свечой присматривать за колбами и ретортами; как будто еще не отработал полученное в долг и рассрочку бессмертие, и ему только предстоит открыть, что в печени образуется ... что уколом в четвертый желудочек мозга можно ... что шейный отдел симпатического нерва обладает ... , а поверх всего этого еще и доказать, что он один из самых блестящих французских стилистов своего времени. Его работы переведут на многие языки, в том числе и на русский. И русские молодые люди, хмурые и торопливые (молодые люди и культуры всегда торопятся), так называемые "nihilistes", минуя печень и четвертый желудочек мозга, сразу вгрызутся в печенки, то есть — в суть: антропологическое значение и гражданское звучание экспериментальной физиологии, ибо для таких натур существует служение более милое, нежели служение любимой науке — это служение развитию своего народа".*

А другие русские молодые люди, менее хмурые, более чувствительные, но тоже торопливые, обидятся на своих сверстников. и обзовут обидчиков "бернардами", полагая, наверное, в этом слове что-то собачье.

Перечнем взаимных обид русских мальчиков займется один лихорадочный русский романист, отнюдь не признанный лучшим стилистом своего времени, а потом появится русский филолог-мыслитель; он устранил ошибку и докажет, что романист был лучшим стилистом всех времен. И придут новые хмурые молодые люди, православные нигилисты, которым что Бернар, что Бахтин — все едино: лишь бы истину утвердить. Утверждается же истина почему-то способом орфографическим: чтобы написать "Бог" и "Церковь" с большой буквы, им нужно писать Бернар с маленькой. "Великий европейский философ, великий ученый, изобретатель, труженик, мученик — все эти труждающиеся и обремененные для нашего русского великого ге-

* Набоков. "Дар", из главы о Чернышевском.

ния решительно в роде поваров у него на кухне... Что за позорная страсть у наших великих умов к каламбурам в высшем смысле! Он берет чужую идею, приплетает к ней ее антитезу, и каламбур готов"*: Раскольников устранил старушку — Бахтин устранил Достоевского; Бахтин навязал Достоевскому "диалог", "диалог" от "dialog", т.е. "спор" (греч.), а "дьявол" — это "dibolos", т.е. "соблазнитель" (греч.). В общем — "... Атеизм, дарвинизм, московские колокола..."*

Ведущий литературный обозреватель "Русской мысли" Герман Андреев назвал статью В. Дмитриева "сложной, очень спорной и безусловно заслуживающей внимания..." Я считаю его оценку безответственной: статья не "заслуживающая внимания", а — потрясающая. Взрыв, переворот!

Русская критическая проза, включая разгромы, учиненные Писаревым — Пушкину, Добролюбовым — Достоевскому, Лениным — Маху с Авенариусом, Ждановым — Зощенко с Ахматовой, знает немного образцов, сравнимых с вылазкой Дмитриева по мракобесию, кликушеству и гнетущему убожеству речи.

Это даже не разгром, тем более — не разбор, это — приговор, жанр, требующий иных определений: "заслуженный", "суровый, но справедливый"... "Сложных" приговоров не бывает, "сложными" бывают мысли, а мыслей в статье В. Дмитриева нет — есть заключения:

1) "... перед нами — бесовская апология Достоевского, пространная и громогласная благодарность автора, покорно исчезающего в концлагерных топках материалистической мысли."

2) Христос — это и есть "монологическая функция".

3) Художественный мир Достоевского — мир благодатный... , моральный... , морально-консервативный, пронизанный церковно-монархическим идеалом.

Приехали. "Монологизм" в системе Бахтина есть не что иное как "тормозящая и замораживающая мысль, требующая благоговейного повторения, а не дальнейшего

* Достоевский, "Бесы".

** М.М. Бахтин. Эстетика словесного творчества, М., 1979, стр. 336.

развития, исправления и дополнений... Слово, изъятое из диалога... Это слово было рассеяно повсюду, ограничивая, направляя и тормозя мысль и живой опыт" (М.М.Бахтин. "Эстетика словесного творчества", М., 1979, с. 336). Иными словами, "монологизм" — что догма, в сущности — любовь, но для нас в 60-е годы прежде всего та единственная, во чреве которой мы были надежно ограждены от "развития, исправления и дополнений". И вот она благополучно вернулась. И не с черного хода, а во главе крестного. Несколько эксцентричных заплат ("благодатный", "благочестивый", "умиленность") бессильны прикрыть заношенную ткань и придать приличный вид: повадки и повороты мысли — те же.

Изумительна откровенность, с которой Дмитриев противопоставляет "беззлобному" (эпитет его — М.К.) и популярному Бахтину "гораздо более тонкого и тем самым более опасного", но — увы! — непопулярного Ермилова, "в чьем отрицании Достоевского очень много глубокого и ядовитого понимания".

Привлечение Ермилова в качестве антагониста Бахтина — символ прозрачный до неловкости: не новое, а старое средневековье надвигается на нас — средневековье 50-х годов.

В этом новом старом недобром времени "социалистический реализм" заменят какимнибудь "православным реализмом", "коммунистический идеал" — "церковно-монархическим", а теократическая ностальгия по 50-м годам удовлетворится идеологией "православного возрождения" в роли "монологической функции".

Догматическая идеология, задвинутая в адогматическое время, может опереться только на ближайшую к ней в пространстве и времени догматическую культуру.

Единственная готика, которая упирается православному Возрождению в лопатки, — сталинские высотные соборы с их коммунальной и скудной душой; единственная церковная эстетика, традицию которой оно способно продолжить — эстетика соцреализма; единственный подлинный враг — не итальянский Ренессанс и Разум просветителей, а просвет 60-х годов.

Достоевского сейчас переписывают справа совсем не

потому, что когда-то, в революционной древности 20-х годов, его переписали слева. Там и тогда Достоевского не переписали, а списали — с парохода современности, сбросили, как сбрасывают со счетов.

Атака на Бахтина — это бунт новых пятидесятников, против старых шестидесятников.

Да, 60-е годы переживали Бахтина и идеологически тоже. Но руководством к действию стала не бахтинская (никем не сформулированная) идеология, а его метод.

Да, в карнавале, разгулявшемся от Меланезии до Блока, ошутима претензия на мировое господство, но все, что разместилось на этой обширнейшей территории — семиотика, структурализм французский, смех древнерусский, кино, театр, люди, книги — все это явления культуры, в сравнении с которыми ревизия Дмитриева — провал в антикультуру.

Подумать только, что золотой век уже был, и мы его не заметили!

Юродивый В.А. Старостин в бахтинском юбилейном сборнике видится теперь не дурной маскарадной шуткой, но пророком — голосом из будущего хора.

... Госиздат с Бахтиным обращается благоговейно. Альманах "Прометей", к примеру, недавно (1981 год) опубликовал случайно уцелевшие записи лекций Бахтина о Толстом, читанных в Невеле на тех самых курсах для "граждан от 14 лет безусловно грамотных".

В.В. Кожин, комментируя публикацию, подчеркивает простоту и доступность изложения, но об их причинах — с характерной для него тягой к цезурам — умалчивает.

Православный "самиздат" обстоятельствами Бахтина в 20-30-е годы вообще не озабочен, саранским его "сидением" не интересуется, зато прямо начинает с того именно вопроса, который не задали проморгавшие Бахтина 50-е годы: "В чем же прямая реакционность Бахтина?" И отвечает. А эмигрантская пресса ответ перепечатывает и — одобряет. И никакой неловкости не произошло.

"Верх" и "низ" в судьбе Бахтина опять ошеломляюще поменялись местами, как будто невельский диспут на тему "Бог и социализм" длится до сих пор. Тогда культуру

громили за религию — в лице Бахтина — во имя социализма, теперь ее поносят за социализм, воплощенный в Бахтине, — во имя религии.

Но общий закон карнавала, неподкупно сформулированный Вяч. Вс. Ивановым, неизменен:

”Лица, занимающие обычно низшее положение, приобретают ритуальную власть над теми, кто занимает высшее положение”. Власть тем более ритуальную, что, в отличие от 1918 года, вступить в диалог с лицами, занимающими умственно низшее положение, М.М. Бахтин не может: мертв. А мертвые, как наблюдательно заметили на том же диспуте, ”не воскреснут, и заботиться о них не нужно”.

IV

А все же я напрасно так взъелась на Дмитриева, ей Богу напрасно! Как-то чувствуется, что его статья ”в бессонные ночи и с исступлением замышлялась, с подыманием и стуканем сердца, с энтузиазмом подавленным... Дым, туман, струна звенит в тумане. Статья ваша нелепа и фантастична, но... в ней смелость отчаяния, она мрачная статья-с, да это хорошо-с”.* Прав, прав Порфирий Петрович! И великодушен. А я не права, потому что не великодушна. По статье В. Дмитриева и впрямь видно: понимал человек, на что он руку поднимал! Топорно вышло — зато наповал, чем и себя самого под удар подставил. Оценим тем более, что тех же мыслей исполненная статья А. Сопровского** написана с высоты величавого спокойствия. Автор до того уверен в победоносном — нет, не шествии — восшествии своих идей, что великодушно признает ”авторитет Бахтина, полвека с лишним исключительно плодотворно работавшего на стыке нескольких гуманитарных наук и сделавшего ряд оригинальных и блестящих открытий”...***

* Ф.М. Достоевский ”Преступление и наказание” (Полное собр. соч. в 30-ти тт, т. 6, стр. 315.

** Сопровский А. ”Конец прекрасной эпохи” — ”Континент”, № 32, 1982, стр. 335-355.

*** Сопровский А. Указ. соч., стр. 340.

Но академическая вальяжность, которой веет от манеры Сопровского, — иллюзия: его выступление столь же взрывчато, что и статья единомышленника, и разворачивается, в сущности, вокруг двух положений Дмитриева, у того — на фоне общей исступленности — проходящих почти незамеченными:

1. "... нас нисколько не будет пугать то обстоятельство, что в художественном произведении найдет свое воплощение "одно сознание"... Более того, именно на монологизме мы и будем настаивать".

2. "Беспрерывно проверять себя Христом — значит беспрерывно гасить в себе бесплодную иронию против мира, спасти себя от пустоты общения с бесами" *.

Защите монологизма, а также изгнанию из литературы беда иронии и отдана статья Сопровского. В спор о Достоевском он не вступает, карнавалом не увлечен. Предмет его забот — самые общие принципы бахтинской эстетики (по Сопровскому — ошибочные), и влияние их на художественную практику современников (по нему же — тлетворное).

Центр полемических эллипсов статьи — одно из главных положений теории Бахтина: оппозиция "авторитарного слова" (оно же — "одно сознание", "монологизм") — "ироническому слову". Поскольку положительный герой Сопровского — "авторитарное слово", его собственное — поучающе авторитетно, лишено игры (если не считать употребленного в статье слова "игривый" в непостижимом сочетании "игривое сознание силы"), работает без маски-метафоры и страховки-иносказания. Короче и грубо говоря, скучное слово. Но в этой скуке есть достоинство ясности и безоговорочности сказанного:

"Ироническому слову Бахтин откровенно симпатизирует — авторитарного же слова не жалуется. Последнее... понимается им как слово *любой* (курсив автора — М.К.) авторитарной культуры. **

Отметим правильность вывода, неодобрительность тона и — курсив. Этим курсивом Сопровский указывает на

* "Грани", № 121.

** Сопровский А. Указ. соч.

первую из грубых ошибок Бахтина, и в доказательство выкладывает список авторитарных культур, один перечень которых должен, видимо, вызвать в сознании читателя сильные культурные образы и тем Бахтина уязвить. Итак, нам предложены: "культура общества теократического" (тут мерещится нечто средне-геометрическое египетской пирамиды с вавилонским зиккуратом), "полисного" (бородатые философы у мраморных ног Афродиты), "имперского" (по подсказке Достоевского — "над кровлями Рима появился Анк Марций")*, "сословно-монархического" (парик Расина на голове Пушкина), что же до упомянутой автором статьи "культуры общества абсолютистски-бюрократического", то ничего, кроме шелковых японцев и мандаринов под зонтиками в моем воображении не прогуливается (возможно, я не права, и автор имел в виду нечто другое).

Во всяком случае, Бахтину дан наглядный урок: все вышеперечисленные общества, несмотря на свою авторитарность, а то и благодаря ей, создали великие культуры. Чего Бахтин, разумеется, не мог не знать. Отчего же все-таки он их не полюбил?

Оттого, — объясняет Сопровский, — что Бахтин перенес на них свою нелюбовь к современному отечественному авторитаризму — "идеопартократии" (термин Сопровского, частично позаимствованный у Авторханова).

Перенос отношения к объекту на свойства объекта — ошибка для ученого непростительная. Но, выясняется, Бахтин совершил еще горшую: исказил историческую ретроспективу, уравнив обаятельные автократии прошлого с несимпатичной ныне здравствующей "идеопартократией", меж тем как "сущность этой последней формы — не только авторитаризм вообще, сколько насильственная бездуховность этой особенной системы. Созидательная творческая потенция этой особенной системы ничтожна"**.

Я не стану доказывать, что в защиту "авторитаризма вообще" нельзя приводить примеры исторических миражей: культуры не подлежат тысячелетнему хранению, при

* Там же.

** Ф.М. Достоевский "Бесы".

перемене места меняется и время. Не займусь историческим анализом, чтобы вычислить процент авторитарности в каждом из перечисленных обществ, хотя вся эта куча антиквариата вызывает у меня сильнейшие подозрения (к примеру, "полис" с "теократией" дуэта не составят, как их рядом не ставь). Я не боюсь влезать в историю, я боюсь попасть в смешное положение, перепутав цирковую арену со спортивной, соревнование — с трюком. Вообразите: во время выступления циркового атлета на арену вдруг срывается панического вида гражданин и умоляет артиста не губить себя — не поднимать многосоткилограммовую гиру. Правила поведения нарушены потому, что забыты законы жанра — в цирке гири пустые.

Вступив в единоборство с Сопровским, я рискую оказаться в роли панического гражданина. Мало того, что в доказательство своих идей Сопровский пользуется категориями, терминами, понятиями Бахтина (кроме бахтинских, других категорий, терминов и понятий в статье нет), — он даже примеры уводит из бахтинских владений: "религиозно-ритуальные черты в осмеянии триумфатора", "ирония в античных риторических жанрах..." "И средневековые знали подобные традиции", — вскользь замечает автор статьи, словно и впрямь некто клетчатый сдул книгу Бахтина о Рабле с книжных полок и памяти современников. (Вот только каких-то древних выпивох-иранцев, о которых Сопровский сообщает, что "они не приступали к переговорам без возлияний" и что "навряд ли это приносило в процедуру скучную серьезность" — я у Бахтина не упомяну.

А к чему сами примеры? — А к тому, чтобы ярко проиллюстрировать: в хороших древних автократиях авторитарное слово (в широком смысле господствующей догмы) не препятствовало существованию слова иронического (в широком смысле — все виды и жанры смеха вплоть до осмеяния). Прекрасно. Да дело в том, что Михаил Михайлович Бахтин экспедиции в глубь веков совершал постоянно, и творческие потенции отошедших культур как раз и объяснял тем, что в них авторитарному слову ("верху") всегда противостояло слово смеющееся, ироническое

(“низ”). (Я сейчас не защищаю и не утверждаю концепцию Бахтина, я только ее напоминаю).

Выходит, что опровергая Бахтина, Сопровской просто-напросто его пересказывает, и выдает аксиомы бахтинской теории за свои возражения, с напряженной патетикой подбрасывая полые чугунные аргументы:

“Бахтину было превосходно известно, что...” Конечно, все это — осмеяние триумфатора, ирония и риторика, средневековые — Бахтину было так же превосходно известно, как Эйнштейну — теория относительности или Гегелю — феноменология духа! Как это стало известно Сопровскому? — вот в чем вопрос!

А вот ответ: читая Бахтина. Черт знает что такое!.. Статья прибыла в “Континент” по каналам “Самиздата”, автор живет в Москве. Неужели же единственное, что осталось от “самиздата” — это бесконтрольность? И дозволено, вопреки старой скорбной мудрости, живому хватать мертвого, подменяя “разговоры в царстве мертвых” диалогом в одни ворота, да еще таким, в котором покойный оппонент подсказывает доводы?

Но — сократим недоумение, охладим гражданственность. На самом деле Сопровского не слишком волнует древность, экскурсию по эпохам и народам с бахтинским “бедкером” в руках он совершил для того, чтобы достойным академическим образом приблизиться к месту своего интереса — “идеопартократии”, ее культуре и вообще — современности. На этом повороте автор, правда, рискует остаться без поводья (о злобнотекущей действительности Бахтин, как будто, указаний не оставил), — зато может продемонстрировать собственное умение. Но оказывается — о, дивная победа гения! — что Бахтин — человек на все времена, без него шагу не ступить не то что вперед, и на месте: советскую культуру Сопровский описывает тоже и только по Бахтину. Он прежде всего отмечает, что “идеопартократия боится смеха”, в официальном советском писателе видит “служителя культа, хотя и бездуховного”, а затем сухой бахтинской кистью выписывает характер этого служения: “В сопоставлении со схемой Бахтина ему (официальному писателю — М.К.) пристало среднее положение между “жрецом” и “придворным поэтом нового

времени"... "Служение" здесь вовсе не метафорично: писатель пишет на заданную тему, в заданном тоне, с заданными выводами; он заседает на ритуальных собраниях, ему предписывают ритуальное восхваление вождей и единомышленников, а также ритуальную травлю противников. Культовым ситуациям соответствуют "пировые": праздники разного рода (хотя их число — вполне в духе кальвинистской традиции! — сильно урезано): юбилеи, чествования, банкеты".

Скажу с оговоркой, но без иронии: это место — не лучшее, а просто единственно хорошее в статье Сопровского. Хотя, увы, даже здесь не все гладко: я крайне озадачена недобрым намеком в адрес кальвинистской традиции, которая каким-то неисповедимым путем подмешалась к советским праздникам. Нежно помня Москву, делаю вывод: на необъятных просторах от Кривоколенного до Большой Калужской готовится ба-а-альшой втык гражданину города Женевы, проживающему в означенном городе под видом памятника. Оно, конечно, правильно, давно пора. А то заладили: католицизм да католицизм, Великий Инквизитор, папоцезаризм!.. Нет, что ли, врагов поновее? Слава Богу, в XX-ом веке живем!.. Впрочем, возможно, я не права, и у автора есть к Кальвину личные претензии: представьте только — окажись Кальвин в России, — была бы у нас теперь не Россия, а Швейцария. Тьфу!..

При всем том повторю: уроки Бахтина выглядят куда пристойней уроков Бахтину. Возможность уловить советского Левиафана бахтинской сетью — заманчива, и не исключено, что именно Сопровский — как усердный читатель книги о Рабле — преуспел бы в этой еще незахваченной области. Жаль, что у него другие задачи, к тому же по бахтинскому задачку нерешаемые...

"У нас литература (как и вся культура) делится на две, так сказать, зоны: авторитетная официальная — и подавляемая независимая", — не освежая новостью, но правильно пишет Сопровский. Его оценку авторитетной официальной культуры мы уже знаем, — остается выяснить отношение к подавляемой независимой. И здесь я прошу у читателя не внимания, но качества более дефицитного — логики. "Идеопартократия", в отличие от классических ав-

торитарных обществ, сама, по своей воле, недогматической культуры внутри себя не допускает. В этом — предположительно — одна из причин ее творческой несостоятельности, что и показал автор статьи с помощью Бахтина. Тем не менее, независимая культура существует — это факт.

Спрашивается: какой должна быть независимая культура, ну, хотя бы ради — прибегнем к формулировке Сопровского — ”сохранения здорового баланса общественных отношений”? Однозначный ответ — смеховой или, с поправкой на историческое время, — иронической.

Но вот тут-то и начинается настоящий цирк: объект самой жгучей неприязни Сопровского — не косноязычная ”идеопартократия” с ее беспробудной культурой, но независимая литература, именно потому и постольку, поскольку она — ироническая.

”От иронии, которой перенасыщена сегодняшняя наша литература, за версту веет растерянностью, неуверенностью в себе, слабостью”, — негодует автор статьи.

От кого же конкретно веет? С безошибочной чуткостью он называет Иосифа Бродского, Венедикта Ерофеева, Андрея Синявского. Идейная зоркость, как часто бывает, сопровождается у Сопровского художественной близорукостью, из-за чего он подсоединяет к этому блистательному ряду Эдуарда Лимонова (я имею в виду не размах писательской одаренности, очень у Лимонова крупной, но совсем иную у него позицию художественного слова). Зато появление среди отверженных имени Набокова — радует: было бы обидно, если бы Набоков был принят в Охотном ряду.

Рассуждения Сопровского об иронии я опускаю: прочесть, что русская культура XVIII века имела право на иронию потому, что ее представители ”пол-Европы завоевали”, или что немецкие романтики с помощью иронии ”отталкивались от косного и ограниченного филистера, а затем возносились и над собой в бесконечности чистого мышления и в артистической многогранности тренированного воображения”... Не то что задумываться, — глазами пробежать эту дребедень стыдно.

Возникает, однако, вопрос: а при чем здесь Бахтин?

Увы, и на этом тяготящем разбирательстве Бахтину

отведена роль главного искуителя: "... позиция Бахтина заслуживает особого внимания, потому что, разделяя с младшими современниками одну и ту же историко-культурную ошибку, знаменитый ученый как бы осеняет своим авторитетом бунт против авторитаризма, подводит серьезную научную базу под апологию всеобщей иронии".

Что за "одна и та же историко-культурная ошибка", — мы знаем: распространение на идею авторитаризма неудачного советского опыта. Как исправлял эту ошибку Сопровский — помним и через несколько абзацев к ней вернемся. Сейчас надо решить другую, подброшенную автором статьи, задачу — уразуметь, какого еще дополнительного маху дал "апологет всеобщей иронии"? Выясняется: на экзамене у Сопровского Бахтин провалился из-за того, что неправильно вычислил современного писателя, доставив его напрямик из XIX-го века (тут следует служебная характеристика XIX-го века: "разделение труда", "автономизация культуры", "отчуждение" и т.д. Правда, по дороге опять за что-то влетает кальвинизму, но — оценим творческую инициативу). И вот благополучно прижившийся в прошлом столетии "просто писатель" (частное лицо, свободный художник) по недосмотру Бахтина очутился в XX-ом веке (следует послужной список XX-го века: "потрясения", "мировые войны", "социальные эксперименты"...), в результате чего автору статьи "приходится в ответ Бахтину привести несколько простых, но существенных возражений".

Возражения Сопровского очень не существенны, но весьма просты: свободного художника, "просто писателя", сейчас нет ни в России, ни на Западе. Русские "просто писателями" быть не могут (официальным не дают, независимые не имеют нравственного права), западные — не хотят и более того — страстно ищут социальную силу, к которой можно прилепиться. Пример: Борхес — правый, Маркес же и Кортасар — напротив — левые! "Маркес (это — просто писатель? а ведь писатель недурной...) заявляет гордо, что бросает перо до тех пор, пока не свергнут Пиночет". Аргументы, как гвозди, — железные, но не от той стены: проблема писателя не совпадает с проблемой его гражданской позиции. Писатель Маркес существует до той минуты, пока

он не бросил пера, и после той, когда снова взял его в руки. А заглянув в этот промежуток, мы сразу наткнемся на черту, кровно роднящую левого Маркеса с правым Борхесом — иронию, и такую общую готовность их прозы соответствовать "карнавальной" концепции, как будто латиноамериканцы, разделив со своими русскими коллегамии "одну и ту же культурно-историческую ошибку", теперь тотально и благополучно иронизируют под сенью бахтинского авторитета.

Покружив над вулканической латинской почвой, Сопровский уверенно и облегченно возвращается к родной: попрекает Бахтина тем, что тот "напрочь не принимает во внимание всем известных особенностей традиции русского писательства" ("проповедническое самоощущение... повышенная ответственность"), ставит в пример расшалившейся новой русской прозе доблестную серьезность старой русской поэзии, обильно цитирует Ахматову с Мандельштамом, призывает, выражает надежду, обещает...

Конец статьи. Вернемся к самому ее началу — названию ("Конец прекрасной эпохи"). Позаимствованное у Бродского, оно, видимо, должно звучать иронической эпитафией ироническому времени, родившемуся в 60-е годы и ныне доживающему последние дни. Вопреки столь почитаемой им Ахматовой, автор статьи хоронит эпоху под надгробный псалом собственного изготовления. И я, эмигрантка и беженка из всех минувших десятилетий, любое время почитающая не своим, сейчас готова подтвердить: то была прекрасная эпоха! Хотя бы потому, что, в полном уже соответствии с Ахматовой, "крапиве, чертополоху украсить ее предстоит": не 80-е, а 50-е годы идут на смену 60-м.

... В рецензии на собрание сочинений Г. Айги Н. Горбаневская, попутно рецензируя статью Сопровского, называет ее "очень серьезной, высокого класса попыткой вычертить заново карту современной русской поэзии". Цеховые интересы Н. Горбаневской понятны: любая попытка написать или переписать групповой портрет литературного поколения, которому сама она принадлежит, важна для поэтессы. Непотятно другое: высокая оценка. Я имею в виду даже не плачевный интеллектуальный уровень статьи Сопровского: допускаю — с недоумением и грустью, — что

проблемы эстетики Бахтина не входят в круг забот Н. Горбаневской, и увлеченная контурами и раскраской новой литературной карты, она упустила из виду ее масштабы и условность изображения. Но как было пропустить авторитарную тягу, которой статья Сопровского одержима, держится и движется?!.. Авторитарность, им взыскуемая, поражающе конкретна, "безадресна", т.е. "авторитаризм вообще".

О, разумеется, направление "Континента" как издания религиозного — известно: ударения, проставленные автором статьи над христианскими аллюзиями в стихах Ахматовой и Мандельштама, так настойчивы, словно он цитирует не поэтические, а литургические тексты. Из чего, как будто, само собой следует, что авторитаризм, защищаемый Сопровским, — это православная теократия, авторитарное же слово, в пользу которого он призывает отечественную словесность отказаться от слова иронического, — есть слово обретенной веры, требующее — словами автора — "благоговейного повторения, а то и коленопреклонения".

Должна ли я выступить с уничтожающей критикой теократической утопии? Заявить, что и любимейшую строфу любимейшего поэта (а он у нас с Сопровским общий: Мандельштам) не намерена слушать коленопреклоненно? Доказывать, что "храм искусства" — пошлая метафора, и поэтические тексты не имеют ничего общего с религиозными заповедями? — Не должна и не буду, потому что теократические мечтания Сопровского — дымка, намек на всем известный контекст, его собственным текстом не подтвержденный. Единственная черта идеального авторитаризма, обворожившая Сопровского, — это *сила*. Даже нелавистная ирония приемлема, если она — с позиции силы (ну, и конечно, в прошлом).

Так — по Сопровскому — абсолютизм, "пол-Европы завоевав и пол-России уставив памятниками себе", завоевал тем самым русской культуре XVIII века право на иронию; правда, дальше — хуже обстоит дело с немецкими романтиками, ирония которых никакими оружейными победами не подкреплялась... Но, свято веря в магнетические свойства самого слова — "сила", Сопровский разрешает ро-

мантикам опереться на невразумительную "силу духа в понимании немецкого идеализма"; и, наконец, совсем уже зачарованно созерцает наличную мощь "идеопартократии":

"Нехитрое дело – посмеяться над этими (советскими – М.К.) ритуалами; плодотворней, однако, было бы рассмотреть их во всей присущей им систематичности и тщательности, дабы понять: каким образом родилась и выжила их зловещая *непобедимость*"... (подчеркнуто мною – М.К.), "... невозможно, увы, отрицать сам факт *победоносного* (подчеркнуто мною – М.К.) существования этой ущербной культуры".

Официальную советскую культуру Сопровский именует не авторитарной, но – "авторитетной"; если это не описка и не опечатка, это – проговорка. Не единственная и даже не одна из многих: проговоркой я считаю всю статью, автор которой не постеснялся отвергаемое им направление в литературе квалифицировать как "бунт против авторитаризма", а роковую ошибку Бахтина усмотреть в критике "любой авторитарной культуры".

Но:

если апология авторитаризма пишется в Москве и по "самиздатским" каналам переправляется на тот берег;

если уже здесь, на "этом берегу", член редколлегии ведущего эмигрантского журнала, поэта, прославленная своим бунтом против авторитаризма, пол-Европы завоевавшего и всю Россию уставившего памятниками себе, "читая полуслепой экземпляр статьи, добравшейся до нас из Москвы, перепечатавая ее перед сдачей в типографию, читая корректуру...", не выпускает корректуру из рук и не останавливает набор, но заново восхищается "точностью диагностического анализа", – значит, перед нами не случайная проговорка, а сознательный приговор идее свободы, знак того, что на самом деле мы присутствуем не при закате старой, а при бурном расцвете новой эпохи. Ее стилистические ростки шевелятся, прорастают и плодоносят в статье Сопровского – воистину, по языку их вы узнаете их:

"В массе выступлений, художественно неполноценных... уродливое кривляние, мелкий эпатаж, мелкое, так сказать, хулиганство... подводит серьезную научную базу..."

в теории и на практике покончить с... запоздалые пророчества Бахтина...

Откуда перекочевали на страницы "Континента" все эти "художественно неполноценные ("идейно ущербные" подразумевается) уродливые кривляния", "мелкий эпатаж с мелким хулиганством", "теория с практикой", "базы", которые обычно подводятся вместе с "мостами", которые наводятся и чужими мельницами, на которые льется вода "запоздалых пророчеств"? — Вестимо, откуда: из проработочных редакционных статей "Правды", "Известий", "Литературки", ильичевских окриков, хрущевских выкриков и ждановских ритуальных заклинаний.

Эта смесь советских византизмов с уже накопившимися штампами православного диссидентства ("бездуховность" — "духовность", "... посягают на самое душу", "бес", "бесы" в разнообразных сочетаниях, а также "бесовщина", "бесовская горячка") ясно показывает, что уже возродилось и какое еще возрождение готовит нам грядущее.

Ненависть Сопровского к ироничности своих литературных современников и соотечественников оправдана: как ни шпыный их слабостью и неуверенностью, как ни попрекай неверием "отчаявшегося рассудка", — именно ирония не в последнюю (а по мне — в первую) очередь расшатала зубы и устои "авторитаризма бездуховного", а, значит, костью в горле станет и авторитаризму будущему — "духовному".

Прав Сопровский и в другом: вынеся за иронические скобки едва ли не все лучшее в нынешней русской культуре, — созданное ли сейчас, как проза В. Ерофеева и поэзия Бродского, или заново пережитое, как философия Бахтина, — он показал, что на таких уровнях лично ему грозит кислородное голодание.

... Журнал "Континент" давно и превосходно отработал прием отмежевания от тех публикаций, которые он по одним соображениям печатает, а по другим — с ними и собой не согласен. Это, во-первых, сноски от редакции, в которой она заявляет, что взглядов автора не разделяет, во-вторых — помещаемые рядом с идейно чуждым материа-

лом полемическая статья проф. М. Геллера или уничтожающий комментарий Н. Горбаневской.

Поскольку статью "Конец прекрасной эпохи" ничем таким не снабдили, напрашивается вывод, что ее идейно-теоретические и эстетические принципы редакция разделяет и одобряет.

Прибавлю: и более того — художественно иллюстрирует: в том же 32-м номере опубликована вторая часть романа В. Максимова "Чаша ярости".

V

... Во всем, конечно, виноват Бахтин: зачем он занимался исключительно проблемами художественного слова, оставив нехудожественное без надзора и присмотра? Обойденное системой эстетического страхования, оно взято на откуп негативной филантропией, выражающей себя гримасами, междометиями, дрожанием ноздрей ("... Поговорим лучше о последнем романе Марселя Пруста"), — короче говоря, — всеми видами классового чистоплюйства.

Ошибка, роковая, как всякий классовый эгоизм: художественное слово — ровня жизни и потому выступает не только ее партнером, но и соперником. Оно действительно уводит от реальности в мир, требующий уяснения законов и причуд воображения сочинившего его Мастера. Одним словом, художественное слово требует усилия. Усилие же припахивает насилием над собой. А это не всякому по карману.

От художественного не художественное слово выгодно отличается непринудительным характером и непринужденностью манер. Эпоха в нем чувствует себя как-то свободней, раскованней, уютней; по нехудожеству она расхаживает в шлепанцах, спустя халатные рукава, гремит касторьями, жалуется на ближних, обличает дальних, ее заботы и надежды, не утружденные поисками приличной формы, простоволосы и неприбраны.

Именно в нехудожественном слове, а не в шарадах и кроссвордах профессионально-осатанелых игроков словами, время у себя дома, разговаривает настоящим, распоряжается пришлым и проговаривается будущим.

Все художники чем-то похожи друг на друга, всякое нехудожественное слово не художественно по-своему, на манер и лад своей эпохи. Только стилистическая воспитанность помешает назвать Достоевского "Шекспиром XIX-го века", но нужен абсолютный культурный дальтонизм, чтобы расценить Анну Караваеву как "советскую Вербицкую" или Евтушенко — как "советского Надсона".

Будучи открытым нервом своего времени, нехудожественное слово естественно обрастает откликами, поклонниками, почитателями и приверженцами того отношения к жизни, которое в нем выговорилось. В силу же счастливой привычки путать литературу даже не с действительностью, но собственным о ней идеальным представлением, данное нехудожественное слово возводится в ранг художественного за нравственные заслуги.

Так в бездействующей армии повышают в чине за выслугу лет. Созерцая очередную ломку кастовых перегородок, эстеты опять морщатся и дрожат ноздрями: "Поговорим лучше о последнем романе Булгакова". Лучше-то оно, может быть, и лучше, и уж наверняка — легче.

А вот с кем поговорить о последнем романе Максимова?

В недоумении и растерянности, страхе и трепете я стою перед "Чашей ярости", не зная, за какую путеводную нитку потянуть, чтобы распутать этот неподдающийся узел?

С одной стороны слово "чаша" взывает — пронеси ее мимо, с другой — напоминает о последней капле, которая ее переполнила. Моление о чаше запоздало: роман я прочитала, содержание его таково, что в нем любая капля — последняя; мудрым предостережением Шекспира — "Не становись между драконом и яростью его" — я тоже пренебрегла. Остается распутывать и выпутываться, тем более, что за нитку красную и путеводную я уже потянула, обнаружив в яростном мире максимовского романа следы Бахтина:

"... каждая мелочь, любое, ненароком оброненное слово были сейчас способны оживить, озвучить неожиданно оглохшую в нем карнавальную ворожбу";

"... от разговора к разговору двигался и Владов ро-

ман. ... вещь разрасталась в некую весьма расплывчатую мозаику, которая сама по себе уже исключала сколько-нибудь гармоническое целое. Ее горизонтальная полифония стелилась по плоскости явлений, не проникая в их глубину и не поднимая их над собой”.

Посочувствуем перебоям творческого процесса в первой цитате; не расплывемся в недоброй усмешке, созерцающая мозаику во второй: по техническим причинам мозаика терпит рядом с собой любой эпитет, но только не ”расплывчатая”; не поддадимся мелкому бесу ехидства, приглашающему признать некоторую правоту авторской самооценки (”... исключала гармоническое целое”); не отшатнемся в ужасе от ”горизонтальной полифонии”, вынуждающей предполагать существование полифонии вертикальной. Презрев мелочность, ничего этого делать не станем, напротив, освободим полифонию от туманных ассоциаций (”стелилась”), из служебного прилагательного ”карнавальная” образуем самостоятельное существительное и в результате получим два фундаментальных положения бахтинской эстетики: ”полифонизм” и ”карнавал”.

Логично предположить, что именно на Бахтина тайком оглядывался автор ”Чаши ярости”, полагая своей исповедальной прозой пробудить к новой жизни поэтику Достоевского, столь тщательно исследованную Бахтиным, но в нынешней русской словесности так никем и не воспроизведенную.

Исходные данные романа, как будто, и полифоничны и карнавальны: ”полифонизм”, напоминая, есть диалогическое сплетение различных автономных голосов — персонажей, каковыми голосами проза Максимова перенаселена. За необходимую ”карнавалу” оппозицию ”верха” и ”низа” без особых натяжек примем плотный слой официальной и культурной элиты (партийные работники, чины ГБ, столичные писатели, поэты, критики, художники, актеры, редакторы и сотрудники ”толстых” журналов) — и противостоящий ему социально (и культурно) ущемленный пласт (районные газетчики, шоферы, деклассированные алкоголики, обитатели психушки, работяги московских окраин). Отдадим ”карнавалу” разлившуюся по роману тему пьянства с присущей ему — пьянству — инверси-

ей социальных ролей, языка и той атмосферой скандалов и разоблачений, в которой и без вмешательства литературы всегда есть нечто карнавальное. К тому же, по теории Бахтина, любой роман как жанр принципиально открыт модернизации повествовательной структуры и наплыву любых иножанровых впечатлений. Учтя, в свете этого положения, постоянно переполняющие "Чашу ярости" вторжения авторского будущего в романное настоящее и цитатный разгул от Пушкина до Окуджавы, — облегченно приходим к выводу, что у нас в руках надежный инструментарий для честного анализа романной ткани. Но — увы: под бахтинским скальпелем ткань ведет себя самым непредвиденным образом: она распадается.

Всякий ли разговор, включающий двух участников, назовем диалогом "по Бахтину", да и без Бахтина тоже? Нет, не всякий, но лишь такой, в котором встречаются два разных сознания, опыта, голоса. А голос — это лексика (культурная заколка, место в мире и сюжете прозы и отношение к ним), это синтаксис (дыхание, возрастной стаж, физический склад), голос — это преобладание одних частей речи над другими, борьба союзов, стычки предлогов, жесты междометий, переименование с ноги на ногу вставных слов и предложений, короче — все натуральное хозяйство нашего словесного существования.

В романе В. Максимова нет диалогов — есть разговоры с заранее оплаченным ответом: персонаж выдает ту и только ту реакцию, которая изначально заказана автором. Да, в сущности, и разговоров нет, поскольку второй их непременный участник — сам автор, то молчаливо выслушивающий себя же в лице дружественного ему персонажа, то внезапно (и, понятно, яростно) взрывающийся монологом от первого лица.

При такой постановке голосоведения как же полифонии не стелиться по плоскости, откуда ей взять силы, чтобы проникнуть в глубину явлений или нарастить крылья, чтобы поднять их над собой? И откуда взяться самой полифонии, если, к примеру, некто Епанешников, газетный халтурщик районного масштаба, так говорит:

"Видишь, вон в углу чмур карячится, ну, вот тот, у

него еще глаза от спермы белые, в кителе "а ля Сталин", не человек, заметь, а бездонная прорва, наш местный гарант... Временно не у дел, состоит в номенклатурном резерве обкома партии, ждет своего часа..."

Его взгляд и стиль перехватывает автор и продолжает: "Он (черкесский классик Хусин Гашоков — М.К.)... брезгливо лавировал между стойками, стараясь не коснуться кого или чего-нибудь, что могло бы запятнать его чесучовые ризы или партийную непорочность, навеки запечатленную у него на изможденном до восковой бледности лице закоренелого *онаниста*".

Послушаем монолог писателя Юрия Домбровского: "Мне теперь молокососы наши новые, что из прибалтийского жаргона язык норвят сделать, Селина в нос суют. Разуть бы им глаза от *онанизма* да прочесть бы толком Селина этого самого... В свое время наши умники чахоточные от злобы на весь свет даже Достоевского "жестоким талантом" ославили... "Жестокий талант!" Да какому-нибудь конфетному Тургеневу или вшивому Буревестнику хоть каплю такой-то вот "жестокости"!..."

Тему подхватывает скульптор Эрнст Неизвестный: "Легкая рука у маразматика Горького, запустил старик ханыгам от искусства ежа за пазуху..."

Он же продолжает:

"Знаешь, ко мне однажды сам Сартр заявился. "Давно, — говорит, — хотел с вами познакомиться, давайте, — говорит, — с вами побеседуем".

(В ходе беседы, само собой, выясняется полное ничтожество Сартра).

"Выходит, — победительно продолжает некто по профессии скульптор, по имени Эрнст, по фамилии Неизвестный, — "вам со мной дискуссировать... все равно, что с советским эком-двадцатипятилетником о преимуществах гомосексуализма в сравнении с традиционной половой жизнью. Ведь он за свой срок только тем и занимался, что петухов в очко харил... Обиделся, уехал. Перводчица, кстати сказать, после него беременной осталась".

Тут протискивается со своим сообщением о портрете знатной доярки неизвестный художник:

"Какой уж там портрет, какое искусство, день и ночь

пахал, только и успевал, что похмеляться... Пришлось под-могу звать, гоняли мы еще с неделю в четыре смычка, хоть бы что лахудре, сопит да посмеивается”.

Не в том беда, что автор и персонажи изъясняются одинаково, а в том несчастье, что изъясняются они одинаково мерзко. Меня не бросает в жар от слова ”сперма” и не смущает слово ”онанист”. Но как не смутиться ”приблатненным жаргоном”, на котором разговаривают все персонажи ”Чаши ярости”, включая и самого Юрия Домбровского, жаргон презирающего?

Оставим в покое неказистую правду советской жизни (”все так говорят”), она здесь не при чем: если в прозе, претендующей на близкое знакомство с действительностью, речевой поток, безразлично, изысканный ли это язык салонов, ”феня”, жаргон или мат, наталкиваясь на конкретных персонажей, не образует воронки и завихрения, не меняет своего течения, ритма и цвета, — то это не ”реализм обиденной жизни”, — как памятно обронил Митенька Карамазов, но обычная писательская беспомощность.

Я допускаю некоторый дефект слуха или слуховой памяти у автора ”Чаши ярости”, но ведь в записи голосов своих современников можно (и следует) полагаться не на одну память!

Ведь тексты Домбровского, Окуджавы, Галича, Высоцкого, Неизвестного — живые, они кровообращаются в русской культуре и не имеют ничего общего с персонажами В. Максимова, узурпировавшими их имена и анкетные данные!

Не могут Домбровский и Окуджава, а также Неизвестный, а также алкаш-газетчик, шофер-алкоголик и солдат-отпускник иметь одинаково несчастное пристрастие ставить прилагательные после существительных, пускать фразы в причастные и деепричастные обороты (и всегда себе в ущерб), наносить противнику решающий аргумент ниже пояса и сколачивать периоды размером с геологические, которые удерживают только знаки препинания.

Жизненное презрение к Сартру, вывезенное вместе с бессонницами с московских ночных посиделок, так же отдает провинцией, как величание Горького ”маразматиком” или рутинные шуточки вроде ”страны перезревшего социализма”.

Я не поклонница Сартра и не защитница Горькому, речь идет не об отношении к явлениям, но о чувстве слова: заново не только советский язык — диссидентская фразеология тоже порядком поизносилась. (В качестве почетного художественного примера приглашаю на встречу Венички Ерофеева с Ж.-П. Сартром и Симоной де Бовуар, вечно бредущими по Елисейским Полям то ли из бардака в клинику, то ли из клиники в бардак).

Если "верх" и "низ" в романе различаются лишь пропиской и должностью, — на какую "карнавальную ворожбу" рассчитывает автор? "Оживить и озвучить" ее способно только слово, а оно у Максимова удручающе однозвучно.

Наша последняя "карнавальная" надежда — пьянка. У меня нет претензий ни к автору, ни к его героям за то, что любая фабульная неурядица, любое сюжетное напряжение разрешаются в пивной, ресторане или одиночном искании истины по классическому рецепту.

Претензия моя иная: почему ни капли из этих попок не перепадает читателю, почему хмельной угар и чад похмелья беспрестанно сотрясают сознание и душу героев и ни разу — мою?

А вот почему (пригубляю наугад):

"Влад еще ходил в этот дом, еще продолжал тянуть эту светскую волынку с ее перманентной пьянкой..."

"Хмельная эйфория уже возносила Гену в заоблачные выси безудержного вранья": "Последовала обычная в таких случаях "гонка за лидером", где количество и качество выпитого определяется обычно лишь степенью взаимной любви или обоюдного остервенения собеседников, но на этот раз они пили молча, словно поспешно заливали в себе что-то такое, чего нельзя выговорить вслух и чему, может быть, вообще нет обозначения на человеческом языке"; "Только приблизившись к ним, Влад сквозь полутьму и хмельную ауру разглядел..." и т.д., и т.п.

К сожалению, я не вижу и не слышу "перманентной пьянки" точно так же, как — по счастью — не вижу и не слышу перманентной революции; я не верю в хмельную эйфорию Геннадия Снегирева, потому что после этой именно фразы он добросовестно излагает случай из своей спецкоровской практики с безупречным соблюдением правил

орфографии и пунктуации по школьному учебнику грамматики (хоть бы из профессиональной солидарности с автором запнулся где или слово перевернул!); люди (и персонажи) вправе напиваться молча и поспешно, поскольку чего-то такого не могут выговорить, но писатель призван разомкнуть уста всему, что без него обречено на молчание; упрек языку в бедности (если это не тютчевская жалоба на "мысль изреченную") для художника равносильен признанию в профнепригодности; и, наконец, сквозь "хмельную ауру" я тоже разгляжу что угодно, даже не приближаясь, потому что слово "аура" еще менее ощутимо, чем сама аура, а эпитет "хмельной" с ног не валит...

В это же — романное — время, по тем же московским закоулочкам летают ангелы Венички Ерофеева и внятно выговаривают "что-то такое" на ангельском своем языке, гениально воплощая в литературную явь неосуществленную мечту "жесточкого таланта" о метафизике и мистике русского запоя — романе "Пьяньские"!* Вот у кого поэтика Достоевского наконец подняла нагруженные веки, подтянулась, распрямилась и воскресла. Без монархического или православного идеала, без сострадательного психологизма — одной силой слова, преображенного гротеском, иронией, игрой, выдумкой. А сострадание и жалость, положенные всякому истинно "жесточкому таланту", передаются у Венички не соответствующими словами, но жанром — особым жанром русского путешествия: это Радищев пересаживается из сентиментального европейского дилижанса в видавшую виды гоголевскую бричку, исторгает болезненный стон при виде чудища, кое обло и лайя, меж тем, как разудалая электричка оставляет далеко позади себя другие народы и государства, от Елисейских Полей Елисейский магазин отделяется одним слогом, а глухонемая баба, свесившись с печи, комментирует поиски собственного "я".

На смещения, пересечения, наложения времен и про-

* За что М.М. Бахтин "Москву-Петушки" весьма одобрил, о чем я с радостью узнала благодаря любезности и осведомленности А. Сопровского: "... Ему (Бахтину — М.К.) в свое время пришлось по душе один из показательнейших образцов современного "паниронизма": роман "Москва-Петушки". ("Континент", № 32, стр. 371).

странств В. Максимов затрачивает груды списанного материала с тем же результатом, какого добивались средневековые воздухоплаватели с помощью гигантского птичьего подобного оперения — они разбивались:

”... Веселие Руси есть пити, — мысленно подытожил Влад, проваливаясь в сновидения, — может, и вправду так?”

”Пять лет спустя, в Нью-Йорке, он вспомнил те слова в мастерской у друга-скульптора, где жена и свояченица миллионера-сенатора, известного своей высокомерной глупостью и тягой к радикальным идеям, потеряв счет бесчисленным скотчам, коньякам и водкам... с собачьим лаем поползли друг на друга по полу, плакали и смеялись... , а затем, предварительно обмочившись, отключились и загнули под столом, очень довольные собой и хозяевами... ”

Веселие Руси есть пити! Одной ли Руси? И такое ли уж веселие?”

В отношении к литературе автор ”Чаши ярости” дремуче доверчив и на каждом шагу попадает в ловушку для Золушки , поскольку роковые двенадцать ударов бьют в искусстве всякий раз, когда чувство полагают тождественным слову, искренность — художественному приему, описание — изображению. Тогда-то кареты превращаются в тыквы, лихие форейторы — в крыс, хрустальные туфельки — в неуклюжие башмаки: любовое описание, опись отчужденного имущества — это работа судебного исполнителя, а не писателя.

Именно в неправильной авторской позиции (понимая ”позицию” скорей в хореографическом, чем военном или нравственном смысле) причина того, что бахтинские и достоевские ставки, на которые в своей прозе В. Максимов явно метил, — проиграны все до одной.

Рецензируя ”Чашу ярости” (”Р.М.” № 3445, 10 марта 1983 г.) К. Померанцев один эпизод в ней считает центральным: скандальное увольнение героя из редакции районной газеты вследствие того, что он поместил отчет о конференции, которая не состоялась, а состоялась большая пьянка, в которой герой, понятно, активно участвовал.

Яростный конфликт с начальством по этому поводу К. Померанцев расценивает как начало разрыва героя с

системой, выпадение из "звеньев партийной цепи", нравственное пробуждение с последующим восхождением к вершине, на которой, по мысли К. Померанцева, героя (и автора) поджидает яростнейший из апостолов – Павел.

Этот эпизод я тоже считаю центральным, но по иным соображениям. Что, собственно, произошло? Грубейший, бессовестнейший (хотя, в другой передаче, и анекдотически смешной) подлог со стороны молодого газетчика. Начальство реагирует сверх меры и ожиданий трезво, как реагировало бы любое не идеологическое начальство: "Да вы мне хоть залейтесь этой дрянью! Можете, если хотите, вместо воды употреблять, ноги мыть в ней, в этой гадости, но не до того же, чтобы печатать отчеты с конференции, которая не состоялась... Не нужно мне в редакции растущих талантов в постоянной белой горячке". В ответ Владу "мутная волна ярости обожгла... горло, застучала в висках и обжигаете накрыла с головой:

– Теперь буду говорить я, понял, гнида, а ты сиди и слушай меня внимательно. Запомни сам и передай своим занюханым начальникам, что я на них хер положил с большим прибором. ...Понял, червь могильный?.. Теперь сиди и думай над тем, что я тебе сообщил, Чамоков. Обдумаешь – повесься".

Вокруг этого районного скандала на всех маршрутах "Владовых скитаний" навёрчиваются аналогичные скандалы областного, республиканского и союзного значения. Они поразительны совсем не злоупотреблением "обжигающей яростью", но очень трезвой ее дозировкой в зависимости от того, с кем пересекается герой. Вот его разъярил швейцар ЦДЛ, затребовав членский билет:

"Такого Влад не спускал никому:

– Слушай ты, мучной червь человеческих размеров, если ты сейчас же не скроешься с глаз моих..." И пошло, и понеслось!.. Но вот героя вербует, провоцирует, оболыщает и запугивает крупный гебист Бардин, в ответ на что мутная волна ярости Влада не обжигает и с головой не накрывает, совсем наоборот:

"– Поверьте, Михаил Иванович, мне даже лестно, что ваше начальство так интересуется моей писаниной. Можете мне поверить, я никогда и ничего ни от кого не прячу, вы

можете получить у меня любую мою рукопись в любое время”.

— Ладно, — скажем мы, уже обжившиеся в романе и знающие, что час апостольского мученичества придет к герою только в эмиграции, на свободном Западе (его ”свободный” в сочетании с Западом по стилистике максимовской прозы полагается заключать в кавычки) — зачем самому в петлю лезть, не со швейцаром все-таки беседует — с органами, так что напрасно он себя внутренне презирает. Но, оказывается, наша поддержка и сочувствие герою ни к чему, внутренне он с собой в ладу и так про себя ситуацию оценивает:

”Я думал, ты умнее, начальник, неужели ты не видишь, что опять ничья, по нулям, начальник”. О Господи! Ну какой тут нуль, какая ничья, если один хитрит, ловчит и изворачивается, прячет свой неукротимый темперамент, как фигу, в карман, другой же ”не скрывает удовлетворения”: ”До свидания, не обессудьте... работа у нас такая”. Это единственная в романе ситуация ”двухголосия” стилистического и смыслового.

Страшно, как от народа, далека я от мысли упрекать автора в незнании или забвении нравственной грамоты. Напротив, убеждена, что житейская мораль здесь вообще не при чем, а если что и при чем, — так это неверное понимание отношений чувства и слова, злоупотребление яростью как литературным ходом (назвать ее приемом не решусь). Поскольку ход этот — единственный, возникает вопрос об элементарнейших, первой необходимости средствах к художественному существованию максимовского романа.

Давным-давно психологи разработали тест на косность мышления: просят назвать какой-нибудь плод — большинство отвечает: ”яблоко”, поэт — называют: ”Пушкин”, часть лица — выпаливают: ”нос”.

У Максимова все плоды — ”яблоки”, все лица — ”нос”, и все поэты — ”Пушкин”. ”Груды” — ”праведные”, а ”логика” — ”железная”, ”амбиции” — ”болезненные”, ”погоня” (”за призраком успеха”), само собой, ”призрачная”. ”Прошрое” — что сделало? — правильно: ”протекло”, как? — ”как вода”, куда? — ”сквозь пальцы”; а ”воображение” — некуда деться — ”горячее”, ”противоречия” — ”мучительные”,

"страсти" — "темные", "суета" же, увы, "повседневная", "губы" — "бескровные", "усмешка" — "чуть заметная", "храм" — он "темный" (вариант: "пустой"), "тишина" — что дела-ла? — "струилась", а "скамейка" — "рассохлась", "чайник" — "пофыркивал", и в то время как "тон не оставлял сомнений", некто "явился пред светлые очи" и нечто "пресек на корню", а пока "намекы" ходят в паре с "аллюзиями", "могила создает ощущение прочности и покоя", падает "кружевная тень", герой решает "прямо брать быка за рога" и в нагладу ухватывает "жар-птицу удачи".

И так от строки к строке, от страницы к странице упорно и вхолостую крутится этот, образно говоря словами автора романа, "спасительный механизм расхожих штампов".

Уже привыкнув к их суровой римской простоте и даже находя в ней своеобразное успокоение, взгляд внезапно наталкивается и расширяется об эллинистический декаданс "души, изъеденной химерами снов и предчувствий" и "синей птицы химер", "терзаясь изводившими его химерами", особенно, когда выясняется, что "химеры звучали", шарахается от "мелких бесов духовного паразитизма", многаяжды погружается в разнообразные "одиссеи", из которых одна — "жизненная", другая — "колхозная", а третья и вообще "последняя" ("... рассказал о своих последних одиссеях"), а тут еще какие-то либералы-паразиты "фешенебельно чувствуют" в "гремучей атмосфере тайны", помноженной на "гремучий симбиоз славянских и библейских кровей"; вместе с "более медными трубами" невыносимо фальшивят "певучие трубы Аустерлица", перешедшего почему-то в недвижимую собственность героя, в силу чего "его Аустерлиц" обязан теперь "сиять с утра до вечера". Прибавьте к этому какую-нибудь "демагогию глобально универсальную" и невыносимое жирное слово "ипостась" во всех падежах — и вам опять захочется: "спячки" — "зимней", "мебели" — "стильной", "глаз" — "сияющих", "кушей" — "райских" (пусть даже они подразделяются на менее и "более райские"), короче — и опять же словами автора — "чтоб мысли возвращались в прежнее русло". Как-то надежней оно, уверенней...
... "Полифонизм", "карнавал", "диалогическая структура"... Для критического анализа "Чаши ярости"

все это нужно не больше, чем дифференциальный анализ для вычислений в пределах десяти пальцев. К чему Бахтин там, где не проходит методика школьного сочинения, ибо пункт плана, именуемый "художественные особенности", попросту невыполним? Я ударились в академическую "однозначную серьезность" при образцово честном сопротивлении материала. Утешение в том, что эту ошибку со мной разделяли очень многие. И не мудрено: то, что разные персонажи живут в одном стилевом ключе для художника-реалиста, конечно, изъят непростительный. Но кто сказал, что В. Максимов — реалист в обычном смысле? А если у него какой-то особый, новый реализм? "духовный" там, "яростный", "нравственный" или "религиозный"?

И не в отсутствии ли речевой индивидуализации упрекали современники Достоевского, а он отбивался "реализмом в высшем смысле", пока не выяснилось, что уши заложено не ему, а как раз его современникам?

Возмущает яростная неприязнь Максимова к либеральной интеллигенции?.. Но кто из больших русских писателей ее жаловал, кроме "какого-нибудь конфетного Тургенева", чуть не единолично в русской литературе либералов представлявшего и за то дружно ненавидимого собратьями по перу и веку? Не нравятся, что Максимова многих, слишком многих из своих литературных содельников не любит? шаржи и гротески на них пишет? Что для Кочетова у него нашлись человечные слова, а для Булата Окуджавы, или какого другого приличного автора — нет? И по вашему это — грех?..

Ведь на то и писатель русский, чтобы, следуя завету Федора Михайловича, "искать человеческое в человеке". Даже если это не убийца или падшая женщина, а Кочетов. А гротеск — не донос, моральному обложению и обжалованию не подлежит; доносы пишут по начальству, шаржи и гротески — по другому ведомству — вечности: современники со временем уходят, литература остается. Кармазинова забыли? Или Гоголя в непотребном виде Фомы Опискина? За что ж вы Максимова-то?.. Ведь он ни в чем не виноват, русская литература сама его морочила, а он ни в чем не виноват. И, прежде всего, в том, что ему предьявляют идеологические, моральные, политические и разные другие крупнокалиберные

претензии. А надо бы заявить только одну и только по месту жительства, то есть — по литературе. И тогда выясняется, что слово В. Максимова просто-напросто не достигает того градуса (кипения или крепости — по вкусу), когда оно способно не то что нанести ущерб действительности, а и просто вступить с ней в диалогические отношения.

Какая, к примеру, Булату Окуджаве обида в том, что его "знакомые песенки, не теряя своего печального обаяния, уже не вызовут в нем (Владе — М.К.) того захватывающего дух ощущения раскрепощенности полета... Мир вокруг нас катастрофически линяет, и голубой шарик на этом стерильном фоне начинает казаться тем, чем он является на самом деле — просто детским шариком, а не знаком судьбы". Здесь все "те" и "эти" — не эти и не те: что за "ощущение"? От ленивой идиомы "захватывать дух" образуется только причастный оборот, а не впечатление; "раскрепощенный полет" предполагает антитезой "полет закрепощенный"; "стерильный фон" резко отличен от мира, который "катастрофически линяет": первый есть качество, второй — процесс, но на фоне обоих — вообразим некую мировую бесцветность — голубой шарик выглядит еще голубей; знаки судьбы — в отличие от дорожных — определенных очертаний не имеют, в силу чего детский шарик свободно может быть одним из них, а если нет, — почему же печальное обаяние все-таки не потерялось? Ничего в романе у Максимова не поймешь, ему б чего-нибудь попроще, "Колонку редактора", например, а он...

Оглядываясь из будущего на свое литературное поколение и смахивая его с книжных полок, автор "Чаши ярости" победительно размышляет о том, что "его осмеянные и обруганные даже самыми близкими ему людьми, неказистые опусы... будут заново и заново возрождаться во множестве изданий, захватывая в поле своего притяжения все новых и новых читателей. Кто ответит, в чем здесь секрет?" В самом деле — кто?..

VI

Литературоведение потеряло спортивную форму. Оно стало гурманом и неженкой, оно боится сквозняков, быст-

рой ходьбы и грубой пищи. Наша наука о литературе, потрясенная свалившимся на нее богатством, набросилась на недоступные прежде развлечения и теперь в тысячный раз перебирает ахматовские четки, как трюфель, смакует цветаевский дактиль, заставляет Булгакова посмертно изучить еврейскую каббалу и манихейскую гностику, и расширяет круг поэтических ассоциаций Пастернака за счет вновь открываемых знакомых его знакомых и их родственников.

Меж тем, Тынянов не боялся притупить перо рецензиями на текущую поточную литературу, а Набоков выписывал душевный склад и поведение бездарных литературных текстов с таким же увлечением и бытовой достоверностью, с какой Э. Лимонов описывает сексуальное поведение своих персонажей.

Только потому, что литературоведение раздобрело и утратило "литературную злость", проза Максимова застала врасплох и критиков, и читателей. Назвать ее "не литературой" можно, но и вылав из литературы, которая с большой буквы, она не перестанет быть литературным фактом, иначе говоря — существовать. А все существующее имеет свой генезис.

Неужели же ничего не напоминает это особенное повествование, где герои чаще не могут выпутаться из придаточных предложений, чем из сложных душевных и сюжетных ситуаций, где персонажи часто улыбаются (или плачут), не вызывая ответных улыбок (или слез) читателя, где на каждом шагу встречаются "старые, но еще крепкие люди", в густых усах которых "прячется добрая улыбка", "мозги работают с лихорадочной быстротой", а "память ищет знакомые образы"? Нет, это уже не В. Максимов — это И. Шевцов, роман "Во имя отца и сына" (а, кстати, как вам нравится название?)

И при такой-то призрачной, не обеспеченной надежным словом жизни, персонажи все-таки ухитряются беспрестанно размышлять о ее смысле, а также предназначении литературы и вообще искусства: "... неужели их судьба не представляет никакого интереса и не стоит слез Паустовского? Нет, с этим Влад смириться не мог, не хотел. Смириться с этим означало для него предать тех, кто остался у

него за спиной, ... где день начинался с мыслью о куске хлеба, а ночь с надежды на милость Всевышнего...”

У Шевцова сходные раздумья протекают сходно: “Что было главным в этих коринских (речь идет о художнике Павле Корине – М.К.) уходящих – и в молодых и старых, в мужчинах и женщинах, здоровых и убогих? – спрашивал себя Климов. И отвечал, не задумываясь, с беспорной убежденностью: сила духа, сила, которую питала вера”.

Кто стоит рядом с Шевцовым – известно: Кочетов. Что стоит за Кочетовым и Шевцовым – тоже понятно: неликвидный фонд социалистического реализма – советские романы 40-50-х годов. А чьи чернила текут в их бумажных жилах?..

Человек может быть сиротой или не знать своих предков, писатель – никогда. Профессиональная чуткость к своему происхождению должна бы подсказать Максиму большую деликатность в обращении с Горьким: если сталинский роман, особенно в кочетовско-шевцовском исполнении, годится ему в отцы, то Горький – в дедушки, хотя горьковская ветвь, безусловно, имеет тенденцию к усыханию – Горький все-таки оставил прекрасные “Детство”, “Заметки из дневника” и не одну хорошую крепкую страшицу в других книгах. Но риторическая мелодекламация, тягучие разговоры о душе и “высоком”, небрежное “словостроительство”, а, главное, опись мира по идейным принципам и соображениям – это от него, буревестника самой безбурной, застойной и глухой заводи в русской литературе. Перегнувшись через горьковское плечо, мы углядим бытописательские “иденные романы” и повести “с направлением” 80-х годов прошлого века, учтем также цветистое декадентское дурновкусие, столь закономерно – через Горького – ожившее в романе Максимова; перелистав от тех же 80-х литературу на двадцатилетие назад – придем к истокам – ненавистным демократическим шестидесятникам, с которыми, как ни крути, нынешняя проза, просветленная духом религиозного, нравственного или какого другого возрождения, обнаруживает роковое сходство. Ибо для идеологического романа содержание руководящей идеи практически безразлично, главное, чтобы от нее – идеи – в мире продохнуть было негде, чтоб ни одна звезда

в небе ни на каком другом языке, кроме идейного, не говорила, чтоб яблоку нельзя было упасть не по ее законам, чтоб ни один поворот головы и мысли персонажа не остался без надзора высшей правды.

Все романы В. Максимова принадлежат жанру идеологического романа, но в "Чаше ярости" он нарушил даже те заниженные нормы, на которые ориентируется этот неприязнительный жанр.

Советская проза 50-х годов – частный случай идеологической прозы, неважно, называется она "социалистическим" или другим каким-нибудь реализмом или вообще реализмом не называется.

За высокое небрежение эстетическим опытом 50-х годов мы расплачиваемся неузнаванием его дорого обошедшихся черт и в прозе В. Максимова, и в романе Ф. Светова, и у других, которых не знаю, но которые есть, и с горечью предсказываю: будут. Они воплощают (и еще воплотят) "литературные мечтания" В. Дмитриева и А. Сопровского о "благодатном", "морально-консервативном", "церковно-монархическом" и "религиозно-нравственном" идеале, о всеильном и всезнающем ("монологическом") авторском слове, изгнавшем иронию, выдумку, игру, вольность, легкость, воображение – короче, все, что было, есть и во веки веков пребудет ли-те-ра-ту-рой.

... Настоящее правит и вымарывает прошлое похлеще всякой цензуры или требовательного к себе автора. Как я ни силюсь сейчас еще и еще раз озвучить реплики Бахтина о Томасе Манне или Вагнере, как ни стараюсь укрупнить кадр с его уходящей в больничные сумерки головой – одно вижу: новенький щегольской роман Кочетова в удивленных бахтинских руках. Михаил Михайлович решительно недоумевает...

З.М.

В "ВЕСТНИК"? А ЕСЛИ НЕТ — КУДА-НИБУДЬ...

Прочла статью Б. Михайлова "О современном эстетизме" (Вестник РХД, 134). Стало очень грустно. Главным образом потому, что статья написана как будто с совершенно моих собственных позиций.

И вместе с тем насколько же не так!..

Понятие эстетизма, как некой идеологии, подменяющей религию, сближение такой идеологии с политическим утопизмом, раскрытие злокачественной сущности этого утопизма — подо всем этим я могла бы подписаться. И далее — постепенное обезбоживание гуманистического искусства, связанное теснейшим образом с подменой идеи любви идеей наслаждения, чувственного земного счастья. Душевный комфорт вместо духовного света. Словом, царствие от мира сего и ничего больше. Новое искусство как идеолог революции от революции неотторжимо. Независимо от того, как революция разделалась с тем или другим своим идеологом, — в сущности — неотторжимость.

Все так. Ужасающие цитаты из Малевича, Кончаловского, Татлина. Все так. Религиозное искусство, духовность в искусстве, искусство как богослужение, — это ведь основная моя мысль, основная забота. Мне душно в безрелигиозном искусстве. Чувствую, что если не выйду на волю — задохнусь.

Казалось бы, только радоваться этой статье. А у меня такая печаль, такая грусть от нее!

Прислано из России.

Да, в безрелигиозном искусстве я задыхаюсь. У разных художников ощущаю разную степень насыщенности духовным кислородом. Где его больше — там я получаю приток жизненных сил, поддержку, иногда почти воскресаю. Лучшие иконы, литургическая музыка: Рублев, Бах, Иоаннелли, Витторио, Эль Греко. Не стану перечислять имена. Их, слава Богу, немало. О поэтах речь особая. Их меньше, но и они есть. Почти святые поэты, их поэзия — богослужение, ее можно включать в священные тексты. Но путь к этим вершинам многоступенчат. И иногда привольные горные лужайки и долины животворно прекрасны. Там, может быть, еще не обозначился образ Божий, но веяние Духа Святого там присутствует. Пушкин лишь изредка засматривается на вершины духовные и пишет "Пророка" или "Монастырь в горах", "Отцы пустынноики и жены непорочны". Как правило, его поэзия живет совсем не на горных вершинах. Однако сколько духа живого, сколько чистого воздуха! А Лермонтов с его богоборчеством, с его демоном? Куда же это деть? Причислить к эстетизму, как причисляет Михайлов Врубеля, Блока, Пастернака (и, верно, еще многих иже с ними) и анафематствовать? Да вообще, все это ренессансное и постренессансное гуманистическое искусство, в своем закономерном развитии приведшее к человекобожескому эстетизму, все это отошедшее от непосредственной духовности, от культовой религии искусство, куда его девать? Направо или налево? Анафематствовать или признать священным?

Или не то и не другое?

Я воспринимаю искусство так же, как всякую красоту, разлитую в мире, сотворенную непосредственно Богом, и как всякое добро, разлитое в мире. Может быть, для эстетов это профанический подход, но у меня мера одна: насколько глубоко мне живется в данном искусстве, сколько сил и смысла оно дает мне. Словом: прозябаю, умираю или воскресаю. Иными словами — сколько Духа Святого впитываю. Так вот, хотя больше всего Духа Святого собрано, конечно, в образе Божьем, но Дух разлит и вне Этого Образа и вне всякого образа. И только там, куда его не спустили, откуда он изгнан, я начинаю задыхаться.

У Лермонтова, несмотря на все демонические позы

и на самого Демона, плещется, разливается, мечется, сияет такой живоносный и божественный дух! "Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу..." Господи, да это одно уже почти предстояние. А в самом Демоне, в его замирании, в его захваченности красотой (Святыней, тайной Красоты, — это не предмет эстетического наслаждения!) — сколько божественной энергии, сколько муки богооставленности!.. Богооставленность и богоборчество — это отнюдь не безбожие...

С Богом боролся Иаков, Богом оставлен был Иов и даже Христос на кресте...

Невозможность жить без Бога чувствуется в каждой лермонтовской строчке, даже кощунственной. Это трагизм. Подлинная невозможность жить без Бога и невозможность найти Его. Трагизм и честность. Ни на какие эрзацы душа не согласна. Значит, она жива. В ней или есть любовь истинная, вечная, или нет ее. И тогда есть ужас от ее отсутствия. "Любить? Но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно..." Но если вечно любить невозможно, то и жизнь сама не нужна. Она теряет смысл. Какой уж тут эстетизм или гедонизм, это жизнь или смерть... Это крик. Это задыхание.

Можно возразить: при чем тут Лермонтов? Ведь о нем у Михайлова ни слова. (Разве что скопом со всеми романтиками подпал под определение парнасского афеиста). И все-таки это все о том же. Потому что и многие другие, которых упоминает Михайлов, в очень сходном положении. Трагизма для Михайлова совсем не существует. Человек должен либо иметь веру, либо он бездуховен и извержен во тьму внешнюю. Но ведь сказано: "если будете иметь веру с горчичное зерно..." А кто его, это зерно веры, имеет? Многие? Многие сдвигают горы?

А не является ли большинство из нас теми самыми фарисеями, которые благодарят Бога за то, что они не такие, как тот мытарь?..

Именно в отношении к мытарю и заключена суть вопроса. Мера трагизма, мера страдания, которую ты можешь почувствовать или не почувствовать в другом, и есть мера нашего фарисейства.

Да, пожалуй, это то самое слово. Михайлов искренне

верует в то, что он верует и в то, что верующие иначе богомерзки. И — ни грамма способности почувствовать их боль, ни боли за них. В огонь ее всю (почти всю) русскую культуру 20 века, за исключением разве что одного Солженицына.

И — в одну кучу самых несовместимых — Блока заодно со всеми не только символистами, но и акмеистами (все акмеисты по Михайлову). Блок и Малевич, Маяковский и Пастернак, Татлин и Лепин — абсолютно противоположные, — все одним мирром мазаны. Не важно, что один говорит о полном уничтожении индивидуального, личностного начала, а другой все мерит этим личностным началом и самым смертным грехом считает уничтожение личности (Лепин). Я могла бы набрать несколько цитат, приводимых Михайловым, прямо противоположной направленности, но сейчас не хочу на этом останавливаться. И не хочу полемикой отвечать на полемику. Это письмо — боль.

И не хочу я сказать, что Михайлов плохой. Нет, в том-то и дело, что он, может быть, вполне хороший. Но как он этим доволен! И вот тут-то... тут-то все и кончается, и тут-то все и начинается...

Михайлов уже может отвечать на вопрос, "что есть истина?" Отвечать печатно, громко, публично.

Христос, как известно, Пилату на этот вопрос не ответил. Разумеется, не потому, что не знал ответа. Но потому, что ответ этот внутренний, тайный, глубинный. Когда он облакается в слово, то слово это доступно лишь внутреннему духовному слуху. *Чужим* ушам ответ этот невозможно услышать.

И Христос молчит перед чужим, внешним, перед тем, кто не узнал сердцем Истину в Нем Самом. К тем же сердцам, которые уже чувствуют смысл тайны, обращены слова: Я есмь Истина.

Не дай только Бог, если чужие, не сопричастные сердцу Христа, не сопричастные вместе с Ним, через Него боли всего живого, хирургически отделяющие себя от других, начнут повторять эти слова вслед за Самим Христом. Одним языком, да еще жаром фанатического рассудка.

Все те, кого направо и налево отсекает, отбрасывает Михайлов, очень разные. Люди разных идеологий, разных

вер. Хотя критерий здесь вовсе не общность идеологий и вер. (И христиане разные). Для меня единственный критерий — мера боли в каждой душе.

Одна капля боли (истинной боли, не раздувшегося самолюбия, не ядовитого тщеславия, а живой боли сердца, жаждущего Бога) и это уже боль Самого Христа. Не заметить боль чью бы то ни было — это не заметить боль Божью.

Михайлов же не замечает, что безверие и бездуховность — это не только вина мира, но еще и великая его трагедия. И что к трагедии так просто не подойдешь.

Этот грешный и бездуховный мир неотделим от нас самих. Мы несем его в крови. Но даже Тот, Кто почувствовал, что греха в Нем нет совсем, пошел все же к мытарям и грешникам, и Он ощутил неотделимость свою от них... Только от самодовольных Он был отделим, ибо у этих крепкая броня и они Его совсем в себя не пускают.

Встреча души с Богом и борьба души с дьяволом дело глубоко внутреннее. Можно помочь душе бороться с дьяволом. Но нельзя заменить ее в этой борьбе, то есть бороться *вместо* нее. Так же, как можно помочь душе встретиться с Богом, но нельзя встретиться *за* и *вместо* нее.

Помочь душе значит прежде всего бесконечно сочувствовать ей, уважать ее и нигде не подменять ее собою. Помочь душе — это бесконечно тайное, внутреннее действие. Это прежде всего твоя неотделимость от этой больной души. Слепой отец и блудный сын. (Даже еще задолго до раскаяния и прихода, — боль и ожидание отца...)

Разумеется, надо бороться за Истину против лжи, бороться с грехом, с дьяволом. Но испытывая ненависть к греху, а не к грешнику, ко лжи, а не к лжецу, к Дьяволу, а не к человеку. Может быть и так, что Дьявол воплощается в человека, совершенно вытесняя в нем все божеское. И тогда приходится отсекал от себя человека. Но и в этом случае, да не будет ненависть наша больше боли! А уж ненависть без боли (боли за тех, других, за врагов) симптом страшный. Такой ненависти в себе самом надо бояться больше, чем того, кого ненавидим.

Может быть и не ненависть, а самодовольное отчуждение, холодное презрение, гадливость. И это тоже симптом страшный.

Теперь я хочу сказать всего несколько слов хоть о ком-то из тех, кто объявляется эстетам, о той сухой ветви которую надо бы отсечь, чем скорее, тем лучше с древа живого духа...

Вот один из них. Ему уделено особенно много места. Это тот, кто "с бездны начал, бесом скакал, бесом и кончил" (Михайлов. "О современном эстетизме") – Н. Лепин. Я начала с него, может быть, потому, что дальше всего от него отстою по мировоззрению. Очень многое в "Парафразах"* выражает нечто прямо противоположное тому, что думаю я сама.

Но, Боже мой, можно ли так говорить о человеке, как Михайлов! Прежде всего, неужели не видно с ходу, что у Лепина никакое не верующее сознание (и не о себе говорил он эти слова), что сознание это глубоко трагическое, ищущее веры и задыхающееся без нее.

Есть места, в частности, может быть, парафраз Евангелия от Иоанна, о которых мне хочется сказать: Прости ему, Господи, ибо не ведает, что творит. Но не увидеть во всей вещи глубоко страдающей и предельно честной души, значит иметь особо устроенные глаза. Автор Парафраз – человек, много с себя спросивший и не простивший не только кому-то, но и себе, *себе прежде всего*, современного состояния России, современного состояния мира, который приводит его в ужас.

"После "Архипелага" дышится легко", – пишет Михайлов. "Мы знаем, что есть святая правда", что "русский мир... врачует и просветляет больную русскую душу". Что бы вы ни знали, сказать, что после "Архипелага дышится легко"... Ну-ну! Дай Бог сил тому, кто написал эти слова. Это все равно, что сказать: "после Распятия дышится легко". Даже если ты очень веришь в воскресение, легко дышать после распятия?! По-моему, страшные слова. И можно ли бросить камень в тех, кто, глядя на распятие, веру потеряет? (Размышления Достоевского у картины Гольбейна). Лепин считал "Архипелаг" великой книгой, "книгой века". Но ему не дышалось легко после "Архипелага"... Дышать легко после таких картин, значит чувство-

* См. "СИНТАКСИС" №7.

вать в себе (или даже рядом с собой) силу, способную залечить все раны, "отереть всякую слезу". Чувствовать эту силу в себе — это быть святым. Да и не всякий святой это сможет. Но даже если ты свят и можешь много, бесконечно много, дышать легко можно будет, когда Архипелаг станет преданием... А сразу по написании и прочтении этой книги?.. Ужас перед тем, на что способны люди, такие же двуногие, как ты сам, неужели он не приводит к раздумьям о том, а что такое человек, что такое я сам?

Или я застрахован, я хороший?

Но ведь и сам автор Архипелага говорил, что при других обстоятельствах и он мог быть таким... Говорил с ужасом, с покаянием (по-моему, это важнейшие страницы Архипелага — способность задуматься над этим достойна преклонения). Ну, а для Михайлова все в прошлом? На сегодня мы только святые и только рубим и судим? Но ведь одно из двух: или святые, или рубим и судим.

А как прочитан парафраз из Якова Беме о природе зла! Читая Михайлова, можно подумать, что Лепин одинаково созерцает в себе возможности добра и зла, почти как Ставрогин. Между тем, как бы ни относиться к теории происхождения зла (я не разделяю точку зрения Беме), нельзя не видеть, что грандиозность и непостижимость зла приводит Лепина в ужас. Он имеет мужество посмотреть в лицо гигантскому противнику. Волосы шевелятся на его голове. Он кричит о том, что людям надо спасаться от врага большего, много большего, чем они думают. Это почти апокалиптическое видение. И вот в ответ ему — камень в лоб. "Богоборец, русофоб". Неужели не видно, что этот русофоб не отделяет себя от тех, кого презирает? С мясом прирос. Кричит, а не может отделиться. Не отделяет себя от России и, что еще важнее, от всего людского племени. И не восхваляет этого племени людей... Но всем людям, и ему в том числе, плохо, очень плохо... И никаких рецептов он не знает. И прямо об этом говорит. И это-то мне в нем и дорого. То, что он среди тех, кому плохо, кому больно.

Грешник он или праведник, это совсем другой вопрос. Но если мне покажут грешника, кричащего в аду, и праведника, который бросает в него камень из своего рая, я предпочту остаться с грешником.

Конечно, немало достается от Михайлова Синявскому. Он ведь (по Михайлову) идеолог современного эстетизма. Разговор о Синявском может быть большим, и сейчас я его вести не собираюсь, но вот сам Михайлов цитирует речь Синявского: "Под словом искусство я имею в виду не только создания человеческого ума и таланта, но реальность, которая скрыто или явно лежит в основе всех вещей, в основе природы, космоса, человеческой истории. Это божественные художественные токи, которые все пронизывают".

Эстетизм? Я вижу здесь что-то совсем иное. Если эстетизм — это проповедь царствия от мира сего, то здесь не о том речь, и вы плохо прочли текст. Бог — Творец, и потому истинное творчество в основе своей божественно, потому что в пределе своем, на своей вершине искусство религиозно. Красота здесь сливается с Добром и Истиной. "Красота мир спасет", — сказал Достоевский, которого даже Михайлов вряд ли обвинит в эстетизме. Разворачивая перед Иовом картину величественного и прекрасного мироздания, не выступает ли Бог, как непостижимый рассудку Поэт, пленяющий душу своей священной красотой? Ведь если бы не так, Он только устрасал бы ее, подавлял своим внешним ей могуществом.

Несколько слов о "самодержавии правды и республике идей". Может ли быть правда самодержавной? Не становится ли она при этом неправдой? Истина постигается лишь внутри, принимается глубиной души. Если истина навязана нам извне, она становится своей противоположностью. Бог всех сзывает внутрь, а не выходит вовне, чтобы решать наши споры. Внутри согласие, снаружи — хаос, вавилонская башня. И потому-то нам и наказан путь внутрь. Царствие Божие там... Истина кротка и беззащитна именно потому, что путь во вне, путь к самозащите ей заказан. Она может только *быть* и не выходить *из себя*.

Самодержавная правда? Вряд ли это законное словосочетание. Мы такую правду хорошо знаем. Республика идей, то есть свободное искание, лучше утвержденной извне правды...

Закончу несколькими словами о той самой самодержавной правде, которая так радует Михайлова. Это ее он

почувствовал в Архипелаге. Он в ней уверен и поэтому, видимо, ему легко дышится: "Заслуга Солженицына не перед литературой только, но перед отечественной историей состоит в свидетельстве о том, что считавшийся давно культурно устарелым и мертвым, политически разбитым и навсегда похороненным русский мир непреложно существует. Соборное мистическое тело России, в которое одинаково не верят, но и с равным ожесточением на которое набрасываются партийные социалисты и свободолюбивая элита эстетизма, возмездно вступает в мир и обличает ложные кумиры".

Вся статья кончается цитатой из Евангелия о том, что "всякий, делающий злое, ненавидит свет" и т.д. И — в геенну всех злых, то есть инакомыслящих.

Что тут сказать?.. "Мистическое тело России". А, может быть, прежде чем объявлять о мистическом теле России, мы задумаемся о мистической глубине каждой личности, и Той общей, единой всем... О Том Самом Едином, всех объявшем, нелицеприятном и не "нациеприятном", о Том, для Кого несть ни эллина, ни иудея?

Я верю, что есть особое мистическое тело, то есть иными словами душа, и у каждого человека и, может быть, у каждой нации. (Хотя для определения этой национальной души надо обладать уже и гностическими познаниями. Это не моя область. Мое дело знать, как мне самой ответить перед Богом непосредственно в каждый миг...) Но вот поэт-мистик и отчасти гностик Даниил Андреев говорит об особом синклите России, о небесном русском кремле, — о том самом мистическом теле... Только у него это носит какой-то иной характер. У всех наций есть свои мистические тела, свои духовные идеи, которые должны воплотиться. И боги нации (ангелы, серафимы) способствуют воплощению этой идеи, а демоны нации (ибо есть и такие, *всегда* есть, у *всех* есть) противятся воплощению этой идеи.

Видения Д. Андреева очень поэтичны, глубоки и духовно достоверны, хотя можно спорить о том, как (буквально или метафорически) их можно понимать. Так или иначе, надежда на русский синклит никак не заменяет Единого для всех, равно спрашивающего с каждой личности Бога. Ни с кого из русских не снимается ответственность

за русскую историю, и никаких скидок на то, что он русский, не делается.

”Отче наш”... Что, только русские могут произносить эту молитву? Или только евреи? Или, может быть, одни арийцы?

И не является ли мистическое тело России в данном понимании новой утопией? Если не человекобожеством, то народобожеством?

Я говорила, что не разделяю представлений Якова Беме о происхождении зла. Это дуализм, манихейство, где Добро и Зло равны. Бог един. Всецел. Был до зла и пребудет после уничтожения зла. Бог Творец. Зло тварно. И всякой твари открыт путь к Богу и путь избавления от зла. Вступит тварь на этот путь или нет, это уже другой вопрос. Но путь *открыт всем*. Однако, зло, хотя и не может быть всеильным, как Бог, крупнее и могущественнее многих представлений о нем. Не до Бога, но до человека оно возникло. И Люцифер, Носитель света был светлейшим из Божьих ангелов. Вот о чем нам надо помнить всегда. И на духовной высоте есть опасность сорваться, возгордиться чем-то тварным и противопоставить это Богу.

Самое страшное зло не то, которое вне нас, а то, которое внутри нас. И потому соблазн найти внешнего врага и все обрушить на него – соблазн страшный. Когда мы рвемся во внешнюю битву, ад торжествует.

З.М.

! ПОДАРОК МОЛОДЫМ ХОЗЯЙКАМ

Вече 

Независимый русский альманах

Борис Гройс

МАМАРДАШВИЛИ И ПЯТИГОРСКИЙ: "СИМВОЛ И СОЗНАНИЕ"

Недавно в Иерусалиме вышла книга двух современных русских философов Мераба Мамардашвили и Александра Пятигорского. Сфера интересов Мамардашвили — история становления европейского рационализма — прежде всего в трудах Декарта и Канта — а также критическое осмысление этого рационализма Марксом, Фрейдом и Ницше. Александр Пятигорский — индолог, исследователь буддизма. Он эмигрировал из Советского Союза и в настоящее время работает в Лондоне, в Институте восточных и африканских культур. Книга написана авторами совместно в Советском Союзе в начале 70-х годов, когда Пятигорский еще жил и работал в Москве.

Книга эта — подлинно философская в том смысле, что не предполагает никакой изначальной догмы, никакого изначального и неоспоримого знания.

Она является результатом свободного философствования свободных умов — ее авторов. В этом отношении книга является уникальной. Ведь в Советском Союзе всякое официальное философствование должно опираться на определенные идеологические догмы, поэтому появление собственно философского сочинения в официальном

советском издательстве попросту невозможно. В то же время и о неофициальном свободном философствовании в современной России не часто услышишь. Литература, искусство, публицистика более или менее успешно развиваются, так как имеют в России большую традицию. Но русская философская традиция достаточно слаба и поэтому написать философское сочинение на русском языке и помимо всякой цензуры – непростая вещь.

Вместе с тем книга "Символ и сознание" возникла не на пустом месте. За последнее время в Советском Союзе чрезвычайно развились семиотические исследования, стимулировавшие развитие различных гуманитарных наук. Имена Лотмана, Успенского, Иванова, Топорова и многих других советских исследователей-семиотиков приобрели не только в Советском Союзе, но и за рубежом широкую известность. Вместе с тем, методологические и философские основания семиотики, в том числе советской семиотики, – не обсуждаются обычно в советских исследованиях достаточно глубоко, так как это неизбежно поставило бы вопрос о соответствии этих оснований советской идеологической догме. Авторы книги "Символ и сознание" как раз и поставили себе задачу свободно проанализировать философские предпосылки семиотики. При этом они не выступили апологетами семиотики, а заняли по отношению к ней скорее критическую позицию.

В основе современной семиотики лежит убеждение, что сознание каждого человека детерминировано его принадлежностью к определенной культуре. Культура же определяется как некоторая система знаков и правил обращения с ними. Эти системы знаков для различных стран, народов и времен различны, и поэтому сознания людей, принадлежащих к различным культурам, так же следует считать различными. На вопрос о происхождении и природе этих различий имеется много ответов. На западе семиотика очень часто выступает в паре с марксизмом, фрейдизмом и ницшеанством. Различия в культурах объясняются тогда с помощью апелляции к различиям в социальных структурах общества, в механизмах желания и его удовлетворения, господствующих в нем, или в способах осуществления вла-

сти в нем. Как правило, все три объяснения используются совместно.

Этот взгляд на человеческое сознание делает из человека пленника определенной культуры, определенного социума. Он овеществляет человеческое сознание, лишает его свободы. Человеческое сознание оказывается подчиненным языку, на котором человек изъясняется. Язык оборачивается для него тюрьмой. Авторы книги не могут согласиться с такой трактовкой сознания. Вместе с этим они не считают возможным вернуться к традиционному взгляду на него. Классический европейский рационализм, ведущий свое начало от Декарта, считал человека суверенным властителем своих мыслей. Человек, с его точки зрения, во всем мог дать себе отчет, во всем усомниться. В свете современной критики эта оценка сознания кажется излишне оптимистической. Человека нельзя считать хозяином своих мыслей. Логика и структура собственного мышления ускользает от человека, от его внимания, направленного на самого себя, на свою внутреннюю жизнь. Человек не может быть сам себе судьей — со стороны, как говорится, виднее.

Авторы книги стремятся поэтому найти средний путь между классическим рационализмом и его современной критикой. Для этого они используют понятия "символа", отличающееся от понятия "знака". Символы, как они понимаются авторами, в противоположность знакам, не связаны с определенным типом культуры. Они не увязаны в единую систему. С точки зрения авторов книги, сам по себе отдельный изолированный символ может иметь определенное значение, определенный смысл. Напомним, что с точки зрения семиотики, это невозможно. Только место знака в системе определяет для семиотики его смысл.

Смысл символа, далее, авторы видят не в том, что он отсылает к какой-то вещи, указывает на нее, как это делает знак. Символ понимается ими как указание для сознания проделать какую-то работу, войти в какое-то определенное состояние. Так, например, змея — традиционно символ мудрости, колесо — символ жизненного цикла и т.д. Можно представить себе и символы иного типа. Например, субъект-объектное отношение в философии — это символ,

указывающий сознанию, как ему надо ориентироваться в мире. Атом авторы также рассматривают как символ дискретности всякого опыта и т.д. Авторы полагают далее, что человек, даже если он и не знает смысла символа, т.е. не знает, какому именно состоянию сознания данный символ соответствует, все равно подпадает под его влияние, если видит его и, вследствие этого, его сознание попадает в это соответствующее состояние.

В результате действительно достигается определенный компромисс. С одной стороны, сознание человека освобождается из тюрьмы. Оно теперь может свободно бродить от символа к символу, не будучи связано ни культурно, ни социально. С другой стороны, оно каждый раз оказывается во власти какого-то символа, даже если не знает этого, не отдает себе в этом отчета. Тем самым и классический рационализм оказывается посрамленным.

Можно соглашаться или не соглашаться с авторами в том, является ли достигнутый компромисс действительно успешным. Нельзя отрицать, однако, того, что он зиждется на серьезном и продуманном основании. И нельзя не восхищаться также некоторыми весьма тонкими наблюдениями авторов над работой человеческого сознания. Невольно, однако, встает еще один вопрос: как связана книга "Сознание и символ" с русской философской традицией? На первый взгляд эта связь отсутствует: в книге нет на нее ни одной ссылки. Однако, это первое впечатление обманчиво. Для того, чтобы это обнаружить, достаточно сравнить теорию, изложенную в книге "Символ и сознание" с известной теорией Юнга об архетипах сознания. Понятие символа, предложенное авторами, очень похоже на юнговское понятие архетипа — по существу даже тождественно ему. Но если у Юнга человеческое сознание определено архетипами бессознательного и сами архетипы всплывают для него только во сне, то авторы книги отнюдь не предлагают читателю погрузиться в сон. Напротив, они пробуждают его любознательность и желание познакомиться с возможно большим числом символов живой культуры.

Здесь проявляется фундаментальное представление русской мысли о полной свободе и независимости русского сознания. Эта идея была высказана еще Чаадаевым. В стран-

ствиях по символам мировой культуры, которое предлагают авторы, можно видеть новый вариант "всемирной отзывчивости русской души", о которой в свое время говорил Достоевский. Человек здесь признается на все способным, абсолютно широким, ничем не определенным. В то время, как запад все более и более привязывает человека к его окружению, воспитанию, наследственности и культуре, русский человек, живущий в тисках навязанной ему извне идеологии, чувствует себя неожиданно свободным. Всю мировую культуру он видит лежащей в его распоряжении. К внутренней свободе такого рода можно, вероятно, отнести и скептически, но, в любом случае, читатель книги "Символ и сознание" проникается ощущением этой свободы, когда читает ее.

ЧИТАЙТЕ ● ЧИТАЙТЕ ● ЧИТАЙТЕ ● ЧИТАЙТЕ

**Чтобы понять, что такое
густой русский национализм,
— советуем — читайте и перечитывайте
журнал "ВЕЧЕ"...**

Золотые слова! ..

**Из них вы сможете представить себе
новый, многообещающий вариант
дальнейшей, после коммунизма, Русской Утопии.**

ЧИТАЙТЕ — ЗАВИДУЙТЕ!

ЧИТАЙТЕ — ЗАВИДУЙТЕ!

ЧИТАЙТЕ --- ЗАВИДУЙТЕ!

Вече • Вече • Вече

В 11-ом номере журнала "Синтаксис" были напечатаны пародии А.Гладилина и Ю.Вишневской на материалы журнала "Континент", которые вызвали целый ряд нареканий из-за вольности тона и некоторой непристойности.

М.РОЗАНОВОЙ

26 ноября 1983

Дорогая Марья Васильевна!
Несколько дней тому назад я был весьма огорчен, прочитав одиннадцатый номер "Синтаксиса". Речь идет о текстах Вишневской и Гладилина.

Вы знаете, что я не одобряю многие аспекты деятельности "Континента" и его редактора. Об этом знает и редколлегия "Континента". Полемика с этими аспектами, на мой взгляд, необходима, но она должна вестись на достойном уровне, совершенно независимо от того, как ведет себя антагонист.

Печатать, разумеется, можно все. Но — не всюду. В серьезном журнале подобные тексты неуместны. Они попросту недостойны. Парафразируя Талейрана, добавлю: хуже того, они не смешны.

Я не был заранее извещен о появлении в журнале этих текстов. Но моя фамилия помещена на второй странице журнала, среди других участников League of Supporters. Я вынужден сказать, что подобные тексты не поддерживаю.

Я по-прежнему весьма уважаю Вас и Андрея Донатовича Синявского, равно как Юлию Вишневскую и Анатолия Гладилина, к которым всегда испытывал дружеские чувства. Но, как говорится в таких случаях, *amicus Plato sed magis amica veritas*.

Искренне Ваш Томас Венцлова

В последние недели приходится сталкиваться с печатными атаками на Владимира Максимова. То это развязная статья Димитрия Симиса в "Вашингтон Пост", породившая недоуменные толки в американской столице, то сочинения Ю.Вишневской, использовавшей завидный и планетарный по масштабу калининградский сюжет, увя, для местного парижского укуса, то пародия Анатолия Гладилина.

Мне очень жаль, что мой старый товарищ тоже влез в это дело. В пародировании друг друга ничего зазорного нет, но следует все-таки как-то сдерживать "свое ретивое" и не изменять своему же собственному чувству юмора и вкуса.

Странная какая-то возникает иногда ситуация в нашей оторванной от дома литературе. Сударыня, хочется иногда обратиться к ней, то есть к ситуации, о Боге надо думать, о русской словесности, о покинутой родине и о новых наших неродинах, неужели не надоело варить вашу бедную свару?

Василий АКСЕНОВ ("Русская Мысль", 27.10.83)

РЕПЛИКА

В "Русской Мысли" от 27 октября 1983 года появилось письмо Василия Аксенова в защиту Владимира Максимова от "печатных атак". Это похвально. Надо же людей защищать от атак — не только

советской печати. Тем более, что часть упомянутых материалов, действительно невысокого вкуса.

Хочется только спросить Аксенова: неужели ему раньше никогда не хотелось выступить в защиту, например, людей, которых "печатно атаковал" сам Владимир Максимов и редактируемый им "Континент"? Среди них, если не ошибаюсь, были даже его, Аксенова, друзья.

Прав, конечно, Аксенов, "о Боге надо думать, о русской словесности, о покинутой родине и о новых наших неродинах". Но едва ли оправдано, ссылаясь на свою погруженность в Бога, не замечать, что творится вокруг, поблизости, и касается непосредственно твоих близких.

Прав Аксенов и в том, что "странная какая-то ситуация возникает иногда в нашей оторванной от дома литературе". Но странность эта в том и состоит, что когда поносят и дискредитируют одних литераторов — это считается в порядке вещей, а когда задевают других — сразу начинают кричать о "склоке" и бросаются защищать добросовестность.

Аксенов в эмиграции сравнительно недавно. Но не так просто с "Русской мыслью". Она ведь в эмиграции — с самого начала. Она все видела, все читала, все знает. Знает она, в частности, в чью защиту письмо напечатать, а в чью — на письмо не ответить. Потакая литературной задиристости одних и оставляя беззащитными других, "Русская мысль" сама повинна в создании обстановки, которую никак не признаешь морально здоровой.

К сожалению, письмо Аксенова невольно читаешь в этом неприятном контексте.

Павел ЛИТВИНОВ



От редакции: Ю.Вишневская, автор "Баллады о растлении Иммануила Канта" высказывает свое искреннее недоумение: пародию она писала на стихотворение Наталии Горбаневской, а заступаясь почему-то за В.Максимова. Прочие отклики и извинения будут опубликованы в следующем номере "Синтаксиса".

Как издатели Н.Лепина ("Парафразы и памятования" — "Синтаксис", №7) мы считаем своим долгом высказать протест, что псевдоним этого московского писателя, ныне уже покойного, недавно посмели раскрыть А.И.Солженицын в "Наших плюралистах" и его его переводчик Н.А.Струве в примечаниях к французскому изданию. Кто дал им на это право? Нам известно, что и Н.Лепин, и его вдова решительно возражали против оглашения в печати имени автора "Парафраз и памятований". Сам Солженицын в предисловии к книге Д* "Стремя Тихого Дона" писал: "Я сожалею, что еще сегодня не смею огласить имя Д* и тем почтить его память". Или для Солженицына и Струве поступки, бесчестные по отношению к единомышленникам, становятся нравственно оправданными в полемике с человеком иных убеждений?

"СИНТАКСИС"

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

<i>Г. Померанц. Акафист пошлости</i>	4
<i>А.Н.Кленов. Философия неуверенности</i>	55
<i>Эмиль Коган. "Марксистом можешь ты не быть..."</i>	85
<i>Ф.Розинер. Посмертная хроника</i>	95

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

<i>А.Синяевский (Абрам Терц). Река и песня</i>	121
<i>Майя Каганская. Шутовской хоровод</i>	139
<i>З.М. В "Вестник"?</i>	191

СРЕДИ КНИГ

<i>Борис Гройс. Мамардашвили и Пятигорский:</i> <i>"Символ и сознание"</i>	201
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----

ПОЧТА.	206
----------------	-----



Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Цена номера 40 фр.фр.

Подписка в редакции на 4 номера — 150 фр.фр.

Пересылка за счет подписчика.

